ISSN 0130-741X

НЕВА

9|1988

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

- Геннадий Беглов
  -
  - ЛИСТ ПЕРВЫЙ
  - ЛИСТ ВТОРОЙ
  - ЛИСТ ТРЕТИЙ
  - ЛИСТ ЧЕТВЕРТЫЙ
  - ЛИСТ ПЯТЫЙ
  - ЛИСТ ШЕСТОЙ
  - ЛИСТ СЕДЬМОЙ
  - ЛИСТ ВОСЬМОЙ
  - ЛИСТ ДЕВЯТЫЙ
  - ЛИСТ ДЕСЯТЫЙ
  - ЛИСТ ОДИННАДЦАТЫЙ
  - ЛИСТ ДВЕНАДЦАТЫЙ
  - ЛИСТ ТРИНАДЦАТЫЙ
  - ЛИСТ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ
  - ЛИСТ ПЯТНАДЦАТЫЙ
  - ЛИСТ ШЕСТНАДЦАТЫЙ
  - ЛИСТ СЕМНАДЦАТЫЙ
  - ЛИСТ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
  - ЛИСТ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ
  - ЛИСТ ДВАДЦАТЫЙ
  - ЛИСТ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ
  - ЛИСТ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ
  - ЛИСТ ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ
  - ЛИСТ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
  - ЛИСТ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ
  - ЛИСТ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ
  - ЛИСТ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ
  - ЛИСТ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ
  - ЛИСТ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ
  - ЛИСТ ТРИДЦАТЫЙ
  - ЛИСТ ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ
  - ЛИСТ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ
  - ЛИСТ ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ
  - ЛИСТ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
  - ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОСЬЕ
  - И ПОСЛЕДНЕЕ
- notes
  - 1

Геннадий Беглов
Досье на самого себя

Матери своей посвящаю

ЛИСТ ПЕРВЫЙ

Пятое февраля тысяча девятьсот двадцать шестого года. Ленинград. Улица Петра Лаврова. Старый дом с большим темным двором недалеко от Таврического сада.

Мое неистовое требование выпустить меня на свет божий мама ощутила глубокой ночью. За окном вьюга, мороз и никакого телефона и никаких такси… (Какие тогда такси!) Но кто-то из нас троих был невероятно везучим…

Отец в одних кальсонах выбежал на улицу и наткнулся на проезжавшего мимо пьяного извозчика…

За шесть лет, что мы прожили в этом доме, наверное, произошло много событий, но память сохранила только два, совпавших во времени…

Вечером отпраздновали мой шестой день рождения, а утром мама отвела меня в «немецкую группу».

Маргарита Францевна, тощая и совершенно седая старушка, учила у себя на дому группу детей. В группу входило три девочки, мальчик с редким именем Пимен и я.

В первый день мы вырезали из цветной бумаги морковку, свеклу, репку и наклеивали все это на серый картон. Это называлось новым для меня красивым словом — аппликация.

Потом мы целый час гуляли в Таврическом саду, а когда вернулись, старушка достала из дряхлого шкафа не менее дряхлый журнал. Началось чтение. Маргарита Францевна читала на немецком — Пимен переводил на русский.

Рассказ я помню до сих пор…

…«Мальчик Макс заблудился в лесу. Появляется печальный Олень. У него пропал сын — Олененок. Олень сажает к себе на рога Макса и доставляет домой к папе. Папа Макса благодарит Оленя и приглашает в дом. Войдя в комнату, Олень видит на стене шкуру своего сына…»

После чтения мы ревели всей группой, а Маргарита Францевна поила нас кофе с молоком и плакать не мешала.

Возвращаясь домой, я еще на лестнице услышал расстроенный голос мамы. Отец тоже говорил громко и раздраженно. Квартира открыта. На площадке соседи, дворники и милиционеры.

Нас обокрали. Унесли все, даже граммофон — подарок на мой день рождения. Из рам вырезаны полотна картин. На полу валялась красная труба от граммофона и галстуки.

Я не мог понять смысла случившегося, а когда отец

попытался мне объяснить, спросил:

— А почему ты у них обратно не украдешь вещи?

Вопрос вызвал общий хохот присутствующих, что окончательно запутало мое восприятие мира взрослых.

Кончилось все отцовским изречением:

— Хватит дворянствовать! Надо жить в народе.

Человек существо коммунальное!

Через неделю мы переехали.

Представьте себе коридор буквой «Г». Каждая сторона буквы — сто пятьдесят метров… (Бывшая гостиница «Москва» — на углу Невского и Владимирского проспекта.) Слева и справа двери. На дверях — их всего шестьдесят — эмалевые яички с номерами. Цифры жирные и довольные. Такие цифры остались сейчас на трамвайных вагонах. Днем и ночью горит свет. В нашей части буквы «Г» двенадцать лампочек. На этаже три кухни. Кухни просторные, как залы, с массой плит, раковин и шкафов.

Коридор постоянно гудит от голосов. Жужжат примуса. Гомонят дети, катаясь по коридору на самокатах и верхом друг на друге. Вход свободен — двери на лестницу не запираются.

Мне и отцу это все понравилось. Мама привыкала долго и болезненно.

Двенадцать ночи. Стук в дверь. В халате, накинутом на голое тело, входит тетя Зина из тридцать первого номера.

— Хотите рассольничку? Только что сварила…

Тетя Зина ушла. Входит Павел Иванович — инженер из двадцать второго.

— Антонина Тимофеевна, я вернул вам чай. В ту субботу брал две ложечки, извините, только сейчас вспомнил…

Через минуту: «Давайте Витеньку к нам. У нас детский вечер. С арбузом. Да ничего не поздно. Еще нет часа…»

Меня утаскивают к прыщавому Леньке, у которого нет приятелей. Он никого не любит, кроме меня.

Час ночи. Только легли спать.

— Александр Николаевич (это к отцу), вы читали «Правду»? Черт знает что (это о Германии)!

Засыпая, слышу шепот дяди Бори из четырнадцатого и отца. Они шелестят газетой и много чертыхаются.

Каждую неделю этаж содрогается от свадьбы.

Сегодня выходит замуж Лидия Васильевна из сорокового. У нее желтые волосы и тонкие ноги. Она поет по утрам у своего примуса вальсы Штрауса. Сегодня она не поет. Она сидит на краю стола, составленного из множества столов, протянувшихся от кухни до кухни. Из каждой ежеминутно выносят кастрюли,

сковородки и графины.

Рядом с Лидией Васильевной военный. Военный много пьет и разговаривает только с невестой и почему-то на вы.

В коридоре чад. Сейчас лампочек не двенадцать, а всего четыре. Остальные где-то там, в сизом тумане.

Отец сказал тост. Пока он говорил, все молчали, кроме тети Зины. Она безостановочно хохочет и ко всем лезет целоваться, даже ко мне.

Потом столы разобрали по комнатам. Отец вынес гитару, дядя Женя из одиннадцатого — банджо, Фимкин отец выкатил пианино, и тут началось…

Даже моя мама, которая так и не признавала «коммуналки», отплясывала краковяк. Все кружилось и вертелось вокруг. Визжали девчонки-двойняшки. Им по шестнадцать. Румяные обе и в одинаковых сарафанчиках. На сарафанчиках нефтяные вышки. Зеленые.

Отец пригласил невесту на вальс, так как военного не было. Он уснул, сжав мертвой хваткой ножку стола. Отнять стол было невозможно, и отец распорядился «не травмировать офицера». Его так и унесли в комнату вместе со столом.

К утру коридор затих. А днем женщины мыли полы. Вспоминая подробности ночи, они много смеялись. Смеялись над тем, что было смешно, и просто потому, что были веселыми.

Караваев из тридцатого по субботам бил жену. Дверь настежь. У дверей собираются соседи.

Тетя Зина: «Не могу смотреть! Не могу смотреть!» (Первой прибегала и последней уходила при этом.)

Отец Фимки: «Но это же варварство!»

Лидия Васильевна (вздыхая): «Ничего вы не понимаете, Моисей Аронович. Ни в жизни, ни в любви».

Дядя Боря: «Избыток энергии и все тут. Они ж, как борцы… накопилась энергия и все тут».

Их не разнимали, не звали милицию. Тем более, что Караваевы жили всю неделю дружно. Он помогал ей стирать. Мыл на кухне пол. Она была ласкова к мужу и, по мнению этажа, была верна ему. Он не пил, не курил. Любил шашки и радио. Правда, супруг был слабый с виду, даже жалкий, и, может быть, она любила его из жалости, а он, чувствуя это, протестовал так своеобразно? Этого толком никто понять не мог.

Отец, например, пояснял так:

— Такова форма их любви. Им хорошо так. Имеем ли мы право осуждать их за это?

Маму это возмущало предельно. Она бегала из комнаты в

коридор и обратно в комнату и с каждым воплем бедной женщины вздрагивала, как будто ударяли ее. При этом мама повторяла на разные лады:

— Гнусно! Гнусно! Гнусно!

Детей в доме — не пересчитать. Никто нас не обижал и даже наоборот — мы обижали взрослых.

В номере первом, в самом углу буквы «Г», жила тетя Нюра, старая, некрасивая баба. Жила одна, жила бедно. Часто мыла полы и стирала белье соседям.

Однажды она мыла пол в коридоре, а Ленька прыщавый вбежал с улицы и наследил. Нюра крикнула:

— Шпана! — и махнула его по ногам тряпкой.

Мы собрались на лестнице. Тетя Нюра была объявлена врагом номер один. Тут же, из массы предложений, как-то: подкинуть в комнату дохлую крысу, залепить замочную скважину варом, послать в конверте живых клопов, — было утверждено мое предложение. Мне же поручили его и исполнить.

Вечером того же дня на вопли тети Нюры открылись все шестьдесят дверей. Крайняя кухня не вмещала сбегающихся жильцов.

Тетя Нюра сидела на полу и истошно выкрикивала слова, что пишутся только на русских заборах. На плите стояла кастрюля. Из нее облепленная кислой капустой и луком, пропитанная наваром щей торчала старая парусиновая тапочка.

На это ЧП взрослые отреагировали крайне серьезно. Расследование возглавил отец. (Он вечно что-нибудь в доме возглавлял.)

То, что это сделали мальчики, следствие установило на месте. Но кто конкретно? Начались допросы. Коридор опустел и затих. В комнатах приступили к пыткам. Одних морили голодом (не давали варенья), других истязали кошмарами («Если не скажешь, кто это сделал, все будут думать, что это сделал ты!»), третьих превращали в клятвопреступников («Я не знаю, папочка, ничего! Клянусь!»).

К концу недели следствие зашло в тупик. Среди нас не нашлось предателя, а ведь только на это и рассчитывали взрослые.

Отец, подозревая кого угодно, кроме меня, делился ходом своего мышления:

— Она шлепнула Леньку тряпкой. Ленька заправил ее щи обувью. Типичное детское мщение… Это же алфавит.

Мама: «У Леньки алиби. Он весь вечер просидел в пятьдесят втором. Это подтверждают Никитины. Их Сережа и Ленька играли

в лото. Ленька из-за стола не выходил».

Отец: «Значит, все-таки выходил. Для этого надо восемь секунд. Дверь пятьдесят второго напротив кухни. Другого быть не может. Зачем, например, нашему мстить за Леньку? Ты бы стал мстить за другого? (Это уже ко мне.) Ну, что ты молчишь?»

Я смотрю на свои пальцы.

Мама (почуя что-то): «Ну, что ты пристал к нему?»

Отец (ему нужно только, чтобы я ответил: не стал бы…): «Я же тебя спрашиваю… Не стал бы ведь?»

Как я могу так сказать, если это сделал я? Поэтому окончательно ухожу в созерцание конечностей. Мама поняла все. Умная, добрая мама говорит:

— Давайте пить чай. Хватит. Надоело уже все это…

Я был спасен. Если бы отец еще раз задал свой вопрос, я бы сказал правду.

Только на одной комнате кроме номера висела медная пластинка. «Кучак Карл Карлович». «ККК». Прочитав Майн Рида, где на роковой пуле стояли эти же буквы, мы дали хозяину мрачное прозвище «Всадник без головы».

Кучак работал в авиационном институте. Я был у них в комнате много раз — относил деньги, которые мама брала взаймы.

Жена Карла Карловича, пожилая усталая женщина с большими зелеными глазами. А дочка Ванда — моя ровесница и тоже с зелеными глазами, величиной с пятак. Мы учились с ней в одной школе.

Как-то на перемене я натолкнулся на нее. Глаза ее смотрели в никуда.

— Ты что? А? Ванда?

Она перевела взгляд на меня, но продолжала смотреть сквозь, и от этого мне стало жутко.

— Да что ты? Что ты? — забормотал я, осторожно гладя ее холодные пальцы.

— Папу увезли в тюрьму, — вдруг неожиданно сказала она. Сказала буднично, как говорят: «Папа уехал в командировку».

В тот день я пришел домой раньше обычного. В коридоре было тихо, будто никого не было дома. Мама гладила мои рубашки.

— Ты чего рано?

И не дожидаясь ответа:

— Иди мойся и садись ешь. Бегает целыми днями… Вон какой худущий стал…

— А за что Карла Карловича арестовали?

Мама грохнула утюг на подставку и вышла из комнаты. Она не хотела об этом говорить. Почему?

А вечером, когда мы все сидели за столом и пили чай, на мой вопрос:

— А нас не посадят в тюрьму? Деньги-то мы у них занимали… — папа промолчал, а мама стукнула ладонью по столу, чего никогда с ней не бывало:

— Ты перестанешь болтать ерунду?! Допивай и спать!

Взрослые что-то скрывали.

ЛИСТ ВТОРОЙ

Теперь об отце.

Я не любил его. Ничем не выражая этого, тем более, не говоря об этом никому, даже маме, я не мог избавиться от ощущения, что вместе с нами постоянно жил чужой человек.

А мать его любила. Это была первая и единственная ее любовь.

Познакомило их в двадцать четвертом наводнение…

Мутная, холодная волна, бегущая от Тучкова моста, вдоль набережной, подхватила девчонку, долго кружила и била ее о стены домов, а потом вышибла ставню окна и бросила вниз, в подвал. Это был склад, где хранилась соль. Соль не в мешках, а так — навалом.

Через несколько секунд подвал заполняется разведенной солью. Девчонка барахтается в этой жиже, хватаясь за скобы, вбитые в потолок. Горят ожогом ссадины. Закричала впервые. С криком хлебнула воды — вырвало. Вода прижимает к потолку… Дальше ничего не помнит девчонка.

Во дворе склада казарма. В казарме — люди, среди них он…

Он первым услышал крик, первым бросился к складу, а когда ломами вспороли двери, принял из соленого потока безжизненное тело…

Потом было, как в старинных романах: очнулась, увидела его, поняла, что не принадлежит более себе, а через месяц, катаясь на катке Таврического сада, куда пригласил ее спаситель, сказала ему, что любит…

Спасителя описать не сложно. Шикарные американские «бегаши», в никеле ножей прыгают отраженные фонарики катка. На ножах — длинные крепкие ноги в черных рейтузах. Мягкий свитер с орнаментом на тему русских сказок. Крупная голова, обритая наголо и ничем не прикрытая. В руках без перчаток зажаты хрустящие на морозе чехлы коньков.

В первый же вечер, хохоча, он успевает рассказать о себе все.

Не узнала мама лишь одного…

Четырнадцатый год. Ночь. Залитый водою окоп. В окопе молодой гранатометчик Александр Костров наворачивает обмотки на сапог. Лег на спину, поднял ногу и в упор выстрелил из нагана. Скрипнули зубы. Полежал с минуту. Размотал обмотки. Внимательно разглядел дырку в сапоге, из которой толчком била кровь. Закопал в грязь обмотки, наган и вылез из окопа…

На рассвете на него наткнулись товарищи.

Этого мама не знала.

Мне он рассказал об этом сам в первый день войны.

Сорок первый год. Ленинград. Конец ноября.

Уже месяц, как мы не видели отца. Уходя, он сказал, что работает на военном корабле, который стоит где-то, вмерзший в лед Невы, и оттуда домой не пускают.

Поздний вечер. Я с мамой на кровати под одним одеялом.

Хлопнула дверь. Мы высунули головы и увидели его. Отец вынул из кожанки четыре свечи и запалил их разом, держа пучком. Закапал воск. В дрожащую лужицу на полу поставил свечи. Подождал, пока пристынут, сел на диван и начал разглядывать нас молча и сосредоточенно. Он был пьян. Первый раз в жизни.

Все так же молча он засунул руки в карманы и вынул одновременно два больших армейских сухаря.

Мы перестали дышать. Стало так тихо, будто все омертвело вокруг. От тишины голова стала наполняться болью.

Сухари повисели в воздухе целую вечность, потом стукнулись друг о друга два раза и легли на диван. Руки полезли в карманы, и фокус повторился: два сухаря, потом тишина, потом головная боль, сдвоенный стук, и уже четыре кирпичика лежат на диване.

И снова все сначала.

Время остановилось.

Происходило нечто, похожее на бред. Реальностью были только адская боль в голове да стук сухарей: тыррк, тыррк — немного глуше. Тыррк — совсем еле-еле, далеко, там, где свечи, где диван, покрытый хлебными плитками…

Мать я не чувствую — не чувствую ее отдельно. У нас одна головная боль и одни глаза.

— Хтитежра?!

Мы видим, что это сказал он. Но головная боль мешает понять слово. «Хтитежра…» (???) Что он спрашивает? И вдруг простое, понятное:

— Не-е-е-т?!

Его лицо настолько перекошено удивлением, что из-под головной боли начинает всплывать забытое слово… Оно неразличаемо еще, оно размыто. Но вот слово твердеет… Боль уступает ему дорогу. Близко! Совсем близко слово… Что это? Оно раздвоилось! Это не одно, а два слова! «Хотите жрать…»

Вот, оказывается, что… Отец интересуется, хочу ли я кушать и хочет ли кушать мама… Но мы не поняли, и поэтому у него такое лицо…

А он, закуривая папиросу, говорит уже другие слова:

— Правильно, что не хотите. Меня не любите и хлеба от меня не берете. Правильно. И никогда не любили…

(Головная боль потекла к шее и стала впитываться в плечи.)

— И я — тоже… Ни тебя — ни его. Так уж вышло. Не ту вытащил… из Невы…

(Боль влезла в живот.)

— Всю жизнь жил и всю жизнь уйти собирался.

(Хлынула в грудь и обхватила сердце.)

— Так уж вышло, Антонина…

Разорвалось надвое сердце. Это выскочила из-под одеяла мать и… Раз! Два! Три! Четыре! Слева, справа, сверху! Хлестко, больно!

Слетела шапка с бритой головы, рассыпалась искрами папироса.

— Еще! — крикнул я, но мысленно. Тело не повиновалось мне.

— Еще, мама!! — удалось, наконец, прошептать мне.

— Еще!!! — ору на весь мир, барабаня кулаками по спинке кровати.

Он сидел, обхватив голову руками и качаясь со стороны в сторону.

Мать ударила его еще несколько раз наотмашь и плюнула…

— Мамочка… — задохнулся я криком. Она кинулась ко мне, схватила вместе с одеялом и вынесла из комнаты.

Бесконечный, мертвый коридор. Мелькают комнаты — провалы, пустые и заиндевелые. Поворот. Опять коридор и снова заколоченные комнаты и комнаты без дверей.

Тупик. Белое яичко с цифрой «1». Моим телом толкнула дверь. Пахнуло жаром.

— Тетя Нюра, мы у тебя переночуем, — крикнула мать, бросая меня на груду тряпья.

Хозяйка сидит у железной бочки. Вокруг штабели книг, почти до потолка. Она кладет книгу меж ног. Ахает коленкор. Обложка летит в огонь. Через палец пропустила листы. Мельком просмотрела картинки и разодрала жирный том на худосочные брошюры.

В бочке пело пламя…

Мы прожили у тети Нюры тридцать семь дней. Отец жил один. Там.

Третье января сорок второго. Утро. Позднее, морозное. Я давно проснулся и рву книги. Мама лежит рядом и смотрит в огонь. Вошла тетя Нюра.

— Антонина, выдь сюда…

Мать, накидывая одеяло, послушно выходит.

Вернулись они почти сразу.

— Умер он, да?..

— Пойди, посмотри, — сказала мать.

Это нужно ей, а не мне, но одна она не пойдет. Я это тоже понял сразу.

Он лежит на диване в своей кожанке, подбитой мехом, которую носил зимой, кажется, всю жизнь. На голове шапка. Это была первая зима, когда он закрыл голову.

Сухари, их было еще много, разложены, как и тогда, тут же на диване. Губы сомкнулись в спокойной улыбке недавнего сна. Лицо казалось молодым… И еще с этим лицом происходило что-то странное…

Я смотрел на это очень знакомое мне лицо и силился понять, что же мешает мне видеть его мертвым… Я сделал шаг к нему и нагнулся, потому что мне показалось… нет, не показалось, а я уже ясно видел, что дрогнули веки…

Мне не было страшно. Это было любопытство. Только любопытство. Я пристально посмотрел ему прямо в глаза…

Среди ресниц и вокруг век копошились черно-серые вши…

Вас интересует, что было потом?

Потом — суп с котом… Нет, нет. Не пугайтесь — кошек мы не ели. Ели клей, как и многие. А сухари отцовские — нет. Тетя Нюра их доела. Она же увезла его куда-то на санках.

Куда? Вот этого я не знаю.

Не спросил я тогда тетю Нюру из первого номера, куда увезла она его. И мама не спрашивала. И вы у меня не спрашивайте.

Наверное, в братской могиле он…

Где же еще ему быть?

ЛИСТ ТРЕТИЙ

Богов, как известно, встречаешь в жизни не часто.

Ну, а если ты живешь в городе, где можно в любой день и час войти в сад, прошагать к богам запросто, рассмотреть их со всех сторон и потрогать этих богов пальцами, даже если на пальцах обгрызаны заусеницы?..

Что тогда? Каково тебе?.. Тем более, что тебе нет и десяти лет, а боги, в большинстве своем, почему-то не одетые. В особенности, боги-тети. На них даже смотреть стыдно, когда ты не один, когда рядом с тобой стоит такая задира, как Лялька Озерова…

Лялька вертит портфелем, крутится сама волчком вокруг Дианы и в сотый раз спрашивает:

— Не нравится?..

— Вот пристала… Ничего особенного.

— Ничего особенного, — кривит губы Лялька, передразнивая, — сам ты «ничего особенного»…

— Подумаешь… «особенная»…

— Дурак. Я с тобой ходить больше не буду.

— Ну, и не надо. Подумаешь…

Отворачиваюсь, чтобы не видеть, как она убегает. Рассматриваю сандалию у богини. (Нужна мне эта сандалия! Как же…) Нагибаюсь к ноге Дианы, сам скосил глаза. Желтый бант подпрыгивает в конце аллеи у канавки. Остановилась. Смотрит в мою сторону… (Сандалия! Только сандалия!..) Слюнявлю палец и тру мраморную ногу. Из-под пыли выступило неожиданно белое, полупрозрачное, живое… Тру рядом. Снова плюю и снова тру, забыв уже обо всем. Очень заметна вымытая нога. Диана смотрит в сторону, но ласково и благодарно… Вспоминаю о Ляльке. Бегу к берегу. Она сидит у самой воды и накручивает на палец травинку. Мне становится жаль Ляльку.

— А я Диане ногу вымыл, — и тут же толкаю локтем.

— Смотри, колюшка! Смотри! Вон — у кирпича! Видишь?

— Вижу, — отвечает Лялька, не разжимая губ.

— Хочешь, поймаю? Ну, хочешь?!

Сбрасываю ботинки. Закатываю штаны.

Вода прозрачна. Хорошо видна битая бутылка с фарфоровой пробкой-замком. (Куда же она подевалась? Только что была тут…)

— Вон она, — шепчет Лялька и бросает травинку, завязанную кольцом. Рыбка в полушаге от меня. Переступаю осторожно. Держусь на одной ноге. Нагибаюсь. Чашечку из ладоней

медленно подвожу под рыбку. Не моргаю, не дышу. Она совсем близко… Зеленая с красным брюшком. Сдвинулась чуть в сторону. Ладони капельку выше… И… Оп!!!

Испуганная и обрызганная визжит Лялька. Взвываю я — проклятая бутылка впилась в ногу. А рядом горланят малыши, пытаясь схватить танцующую в траве колюшку…

Собирается толпа. Лишь после того, как Лялька перевязала мне ногу своим носовым платком, а зелено-красный трофей был водворен в бутылку с отбитым дном, мы остаемся одни.

— Больно?

— Ерунда…

Руки у Ляльки в кляксах.

— Давай, на банте горошек сделаю.

— Красный?

— Красный нечем. Фиолетовый. Давай. Знаешь, как красиво, когда в горошек.

Лялька развязывает бант. Разглаживаю на коленях желтый шелк и, ткнув химический карандаш в мокрую траву, вывожу первую горошину.

В самое ухо шумно дышит Лялька. Плещется в бутылке колюшка. Ноет нога.

Некоторые горошины кривые, но Лялька довольна. Бант завязан. Штаны высушены. Мы выходим из сада. Я несу оба портфеля. Лялька — бутылку. Прохожие оборачиваются. Нога уже не болит, но я продолжаю прихрамывать, для вида, — это же красиво, когда рядом с девчонкой идет мальчишка и прихрамывает…

— Болит еще?

— Ерунда.

Под аркой моего дома отдаю портфель. Лялька протягивает мне бутылку и безнадежно вздыхает.

— Рыбку не забудешь кормить?..

Мне очень хочется принести рыбку домой и рассказать маме, как ловко я поймал ее, и, конечно же, я не забывал бы ее кормить, но я, неожиданно для самого себя, говорю:

— Зачем она мне? Вот еще…

Лялька передразнивает: «Зачем, зачем» и уходит, держа высоко бутылку с отбитым дном.

— Па-па, тара-рам! Па-па, тара-рам! — через три ступеньки вверх… (Леньке не скажу ничего — проболтается!)

— Па-па, тара-рам!

Влетаю в коридор. На повороте сбиваю Кольку — отлетел к стенке вместе с самокатом. Не заревел. Его ежедневно сбивают — привык. Грожу ему кулаком и распахиваю дверь…

Солнце во всю комнату. А в солнце голая мама…

— Ой!

Прикрыла грудь и присела.

— Фу ты, господи, напугал как…

Выпрямилась. Только сейчас замечаю на полу таз. Хлопнул белый парус, и все исчезло. Осталось солнце и теплые пятна простыни, в которые тычусь губами. Мама гладит мои волосы и шепчет убаюкивающе:

— Что ты… Что ты…

Ищу лицом и слышу твердое, спокойное: тук-тук.

— Люблю, — срывается у меня.

— Тук-тук, — отвечает мне ее сердце.

— Люблю.

— Тук-тук.

Не удивляйтесь, что я так хорошо помню этот июньский день тридцать пятого года. Если не помните такого дня вы, когда впервые произнесли это слово, то мне искренне жаль вас. Для чего же тогда память? Что же тогда хранить в ней? Какие дни?

Я уверен, что помним мы только одно — неповторимое.

Вот и сейчас я закрываю глаза, сдавливаю рукою виски и через тьму времени снова вижу свинец окна, ощущаю рядом маму, которая дышит на мои коченеющие ноги, и я начинаю еще раз жить в далеких днях января сорок второго года…

Отца нет. Мы одни под одним одеялом. Последние дни. Говорим слова, схожие с лаской. Часами молча смотрим в глаза друг другу и возникает тепло. Тихо молимся за близких и проклинаем врагов.

Вот день, когда мама смогла выйти на работу в госпиталь. Вернулась утром. Вышла еще раз и вернулась утром.

А вот и то утро…

…Лежу с открытыми глазами и слушаю, как стреляет в соседних комнатах мерзлый паркет. Прошуршали по коридору незнакомые шаги. Вошла и села у дверей молодая женщина. Сняла ватные рукавицы, хлопнула ими и сунула под мышку. Тут же снова надела их, встала и извиняющимся голосом сообщила:

— Антонина Тимофеевна умерла, — постояла чуть, добавила: — Она в сарае, за главным корпусом, где все…

Закрыла лицо руками и вышла.

Остановлюсь здесь.

Остановлюсь для того, мой читатель, чтобы сказать главное.

С этой минуты, когда женщина вышла — меня не стало… С этого мгновения начал двигаться, решать, говорить — короче,

жить — другой человек.

Совсем другой…

…и куда я дел эту проклятую ножовку? Ищу уже полчаса. Топор здесь, у дверей…

Я должен это сделать! И никакого мороза!

Жара — нечем дышать. Только ноги перевяжу… Цинготные язвы мокнут, текут. Но боли нет. Есть не хочу. В кастрюле под крышкой лежит хлеб. Двести пятьдесят грамм. Мамин паек. Но я не хочу, так как свои сто двадцать пять съел вчера вечером.

А вот она где…

Ножовка лежит под ворохом книг, приговоренных к сожжению.

Обматываю голову вязаной шалью, выхожу в коридор.

«Иди твердо! Не качайся! Не держись за стены!»

Сейчас будет поворот и двери на черную лестницу. Дверей нет — их давно сожгли. Лестницы тоже нет.

По причудливым нагромождениям заледенелых нечистот карабкаюсь вверх, держась за перила.

Четвертый этаж дворового флигеля. Такой же коридор, как наш, только потолки пониже.

Комната номер пять в конце. Мне надо туда. Я был там много раз. Но все никак. Все не решался…

Вот… Номер пять. Дверей нет. Оконные стекла вышибло взрывной волной еще в октябре.

В полстены буфет. Старинный. Красное дерево. На дверцах резьба. Поверху толстенный резной бордюр. Кубометр дров!.. Но я ни разу близко не подходил к нему. Только глядел.

На полу у самого буфета труп…

Он здесь давно. Не меньше месяца.

Шапка-ушанка. Зеленый ватник. Валенки. Лежит на боку, чуть подогнув колени, лицом уткнувшись в буфет. Обе руки подложены под голову.

Спал человек.

Ножовку и топор бросаю на пол. Хватаюсь за ватник, тащу на себя… Никак. Мужчина огромный — выше отца. Беру за ноги и резко в сторону… Еще на полметра… Не поднять — только волоком. Он — замороженный, он, как стеклянный, потому и скользит по паркету.

Захожу с другой стороны, снова тяну за ватник. Неожиданно он перекатывается на спину. Глаза открыты. Голубые, стеклянные. Согнутые руки локтями торчат вверх. Ладони приморожены к щеке.

Снова обхожу, чтобы взяться за ноги, и вижу кобуру. Она

торчит из-под ватника.

Пуговицу не расстегнуть — смерзлось все.

Рванул.

Кобура на широком офицерском ремне. Видна черная рукоятка нагана.

Вынул его, кручу барабан с золотистыми головками пуль. От него входит в мои ладони тепло. Я чувствую, что становлюсь еще сильней, еще смелей…

Я ничего не боюсь!.. Я сделаю все, что задумал!..

Обалдевший от прилива сил, выхожу в коридор. Вытягиваю руку, зажмуриваю глаза и…

Громыхнуло так, что из окна вылетели остатки стекол. И с ходу, уже прицелясь… (там — в конце коридора — немец! Фашист!)… Тррах!!!

Грею пальцы о горячий ствол, возвращаюсь в комнату и кладу наган на пол. Беру топор. Через четверть часа буфет превращен в доски.

Боковые стенки по ширине как раз… Плечи у мамы примерно такие же. А вот в длину…

Мама маленькая. Вспоминаю, что когда целовал ее волосы — нагибался.

Ставлю доску. Прислоняюсь к ней лицом и на уровне подбородка делаю гвоздем метку. Отпиливаю лишнее… Беру вторую… Пилю.

К полудню ящик был готов.

Я хочу приколотить на крышку бордюр, но гвозди не входят, гнутся.

Наган прилаживаю за пояс и в обратный путь…

Дома привязываю веревку и прибиваю лыжи. (На лыжах я возил в бидоне воду с Фонтанки — потому они не сожжены.)

Все!

Наган подсунул под подушку. Поехали…

Госпиталь на Литейном. В трех шагах от дома. За главным корпусом сарай. Ворота настежь. На земляном полу носилки. На носилках трупы. Их много, очень много… Но маму нахожу сразу — у нее красные варежки.

Плечи оказались широки. Из-за шубки. Укладываю чуть на бок. Заколачиваю ящик.

Потащил…

Никто не остановил, не спросил, не обратил внимания. Все буднично — блокада…

На Невском не сугробы — холмы. Меж ними тропка, протоптанная редкими прохожими.

Обгоревшие скелеты троллейбусов. У «Колизея» завал битого кирпича… Это вчера угодил снаряд во второй этаж. Черная пишущая машинка хорошо видна на белом снегу…

Тащусь медленно. Мама легкая и потом — лыжи, но я берегу силы. Еще далеко.

Стемнело.

У ворот Охтинского кладбища грузовая машина с брезентовым кузовом. Тарахтит мотор, но в кабине никого.

За оградой, в шагах пятидесяти от ворот — костер. Вокруг девушки. Хлопают в ладоши, подпрыгивают, что-то поют.

Единственная тропа ведет прямо к костру. Девчонки из ПВО. Семь человек. Две пьяненькие.

Увидели меня. Притихли. Рядом с костром свежие комья земли. Лопаты, ломы.

— Откуда ты, родный?..

Молчу. Смотрю на костер. Суют кусок хлеба. Сжимаю в руке. Не ем.

Они говорят что-то — я не слышу. Я смотрю на костер.

— Садись, мальчик, садись…

На чью-то могилу кладут ватник. Я сел.

— На, глотни, глотни…

Из фляжки потекла, обжигая горло, водка. Красивая жестяная банка. Ложкой зачерпнула что-то очень душистое.

— Открывай рот, открывай шире!

— Сестренка? — спрашивает другая, кивнув на ящик.

— Мама.

Девушка прижимает меня к себе, сует банку.

— На, держи сам и ешь.

Отошла.

Я быстро хмелею. Машинально заглатываю тушенку, смотрю на огонь, который то отходит от меня далеко, то надвигается, обжигая лицо. Закрываю глаза, а открыть не могу. Никак…

Очнулся от поцелуев. Целуют в нос, в глаза, в губы.

— Домой, домой поехали!.. Тебя как зовут-то?!

Я ответил и с трудом поднялся на ноги.

Ящика не было. Пока я спал, они похоронили маму. Закопали рядом с Зиночкой. Ее убило снарядом днем на Второй линии Васильевского острова.

— Давай, давай… Помяни маму.

Храбро глотаю два раза.

В карманы суют сухари, еще что-то… Берут под руки, ведут к машине.

— Где живешь, Витенька?

— Невский. Ресторан «Москва»…

По лестнице еле-еле — ноги тяжелые, свинцовые. Ощупью, на память, в кромешной тьме двигаюсь по коридору.

Долго ищу спички. Зажигаю коптилку.

И первое, что вижу — подушку.

Падаю к ней грудью и заревел, завыл по-бабьи, сжимая под подушкой холодную сталь…

…Хочу к маме… очень хочу. Но что-то мешает, не пускает, держит и никак. Сейчас, мама…

Сейчас…

Обожгло. Ударило молотом в грудь. Откинуло к стенке. Боли нет. Жжет очень. Дымит бушлат.

Сполз с дивана. Поднялся. Качнуло к двери. Наган в руке. Кидаю его в угол, за печь.

Помню холод промерзших стен коридора. И последнее, что помню — дверь на улицу.

Я никак не мог ее открыть…

…Молодого хирурга зовут Идой Марковной. Она все время улыбается, говорит мне: «Глупышка», но пулю мне не показала.

Принесла ее санитарка Лиза.

— На свою бомбу… Держи.

— Какая маленькая, — разочарованно пискнул я.

Пуля действительно была до смешного мала: с тупым носиком и почему-то зеленоватая. Покатав между пальцами, я протянул ее обратно.

— На память не хочешь?

— Не-ка…

— Не «не-ка», а нет, — поправляет Лиза. Садится на койку и начинает тараторить.

— В «девятке» майор лежит. Я его «попрыгунчиком» зову. С койки — на койку и опять на другую. Там — дует. Там — пружина плачет. А в третьей — клопа обнаружил. «Где клоп?» — спрашиваю. Ну, клопа никакого нет. Все врет. Ему на другую койку надо… И признание делает: «Я, Лизонька, не сердитесь — в примету верю: на какой койке приснится сон с валенками, с той и встаешь здоровым…» Я, конечно, его перетащила. Уважаю приметы. А при нем мешочек махонький с большую репу. Я его хвать, а он не берется. Ну, гиря, и все. В мешке знаешь, что? Осколки! И такие… И такие… И разные.

— А зачем ему?

— А все его. У него шрамов… Ну, места живого нет. Так и возит их с собой. Коллекция…

Лиза делает передых и начинает про то, как до войны она тоже коллекцию собирала. Ложки. В связи с этим любила в гости ходить. Ну, кто спохватится после обеда, что ложки не хватает? Хлопали ушами и официанты в ресторанах.

Голод пришел в дом Лизонькин не позднее, чем в другие дома. Коллекция ложек (более двухсот штук, размещенные в крохотной комнате по особой Лизонькиной системе) превратилась в парадокс, патологический и жуткий. Однажды утром, обливаясь слезами, она отнесла их на помойку. Оставила только одну, простую солдатскую, на которой нацарапано: «Вадик».

Вадик получил повестку двадцать третьего июня утром, а днем, на вокзале, прощаясь с ним, Лизонька взяла у него этот последний экземпляр. Из этой ложки она кормила и меня, пока не был снят гипс.

После выздоровления, только благодаря Лизонькиной неутомимости, я был принят в ремесленное училище.

Ремесленное училище занимало первый этаж огромного здания у Кировского моста. (Бывший Дом политкаторжан.) Туда свозили со всего города уцелевших от голода подростков. В общежитии было тепло — топили досками из разрушенных домов. На этих развалинах мы и работали, а по ночам, в тревожной темноте общежития, смотрели длинные эпикурейские сны. Спали много. От слабости.

В один из выходных дней я поплелся домой и по дороге вспомнил о Верочке. Девочка эта жила в нашем доме, но по другой парадной. До войны я часто канючил у нее велосипед — прокатиться по двору три круга. Она была на год моложе меня. Роста невысокого, сероглазая. Самое красивое — волосы, цвета старой бронзы.

Верочка лежала на матраце под грудой одеял и пальто. Похоронку на отца получила еще в октябре, а в ноябре умерла мама. Но она держалась еще и встретила меня с радостью.

Мы растопили паркетом «буржуйку», а потом она мне показала невероятно ценную вещь: огромный кусок хозяйственного мыла. Его можно было разрезать на крохотные кусочки и выменять на хлеб, на крупу. Но мы решили… мыться!

Первый раз за всю зиму.

Я таскал снег и вываливал в ведро, стоящее на раскаленной докрасна «буржуйке».

Потом мы близко-близко лежали под одеялами и пальто, и я читал вслух роман Густава Эмара… (Папину библиотеку она на

жгла.)

Утром я ушел в училище.

Я помню эту ночь до малейших подробностей… И что все-таки странно… (сейчас странно…) Ведь ничего не было… Ни-чего! Ни словом, ни движением, ни взглядом… Ни я, ни она не выразили желания…

Его просто не было — оно не возникало.

Объясняю я это только одним — крайним истощением и тел наших тогда, и наших душ.

— Поздравляю с Международным женским днем! — ору я на всю квартиру.

Пальто зашевелились.

— Что это? Спички?

— Это сахарный песок!

Открываю коробок. В глазах ее треснуло что-то. В трещинках улыбка. Слабая. Чуть-чуть. Лизнула край коробка. Я тоже. Снова она. Тщательно кончиком языка ищем песчинки, застрявшие в уголках. Коробок мокрый и сладкий.

Все. Молчим долго. Но вот губы дрогнули, и мне показалось…

— Ты что-то сказала?

— Дай я тебя поцелую…

Это был первый поцелуй в моей жизни.

Били меня страшно.

Особенно жестоко бил Павлуха — ногами.

— Гад! — хрипит Павлуха. Потом подпрыгивает, держась за спинку кровати, и совсем хрипло: — Ворюга!..

Я лежу на полу, свернувшись клубком. Рядом сидит Сергуня, вытянув длинные ноги. Меж ними моя голова. Сергуня бьет по алюминиевой миске, как в бубен: — Баб!.. — Потом миской по голове: —…ник!

— Баб-ник! Бабник!

Миска черная от крови, руки — тоже.

Третий — Кисанька — красивый мальчик с темными кругами вокруг глаз. Почти каждую ночь Павлуха ловил Кисаньку во время онанизма и каждый раз, когда затихал хохот и свист, он прятался под одеяло и подолгу беззвучно плакал.

Сейчас Кисанька стоит на коленях и царапает мою ногу. Он пытается дотянуться до бедра, но этому мешает Павлуха, который, прыгая, может запросто и отдавить Кисанькины пальцы.

Я совершенно голый — трусы сорвали еще вначале. Они валяются тут же, впитывая кровь с грязного линолеума.

На восьмое марта давали сахарный песок.

За песком послали меня. Вхожу на кухню. На столе тазик с песком. Рядом тетка. Лица не помню — только руки. Ложкой считает порции. Отсчитала двадцать одну мне в тарелку. Иду обратно. Коридор темный и липкий от грязи и копоти. Иду медленно. Не решаюсь еще. Дрожат ноги. (Ну же… Трус!) Достаю спичечный коробок. Зарываю в песок. Сомкнул коробок и в карман.

Бригада за столом. Все двадцать. Раздает песок староста — Павлуха. Почему — непонятно, но песка хватило на всех. Передо мной на клочке газеты бугорок: моя порция.

…Что же так долго дрожат колени?..

Всю операцию мою с песком видел один человек — Кисанька. Он же единственный, кто знал о Верочке: я как-то рассказал ему о ней.

Вечером, разбудив Павлуху, Кисанька изложил суть. Павлуха поднял остальных. Долго совещались. А потом меня спящего Павлуха спихнул с койки, Сергуня ударил миской по голове и началось:

— Баб-ник! Баб-ник!..

Последним присоединился Кисанька.

Остальные лежали под своими серыми одеялами и так же, как у Верочки, в глазах их была видна слабая улыбка…

Эта история не раз потом возникала у меня в памяти. Ведь они могли меня убить. И правильно сделали бы. И им ничего за это не было бы. Это была Справедливость тех дней. Я сам читал приказ, расклеенный по городу:… «За кражу продовольственных карточек — расстрел на месте»…

И еще я думал: а если это сделал бы другой? Что я?…

И хорошо зная себя тогдашнего, зная состояние своего «я», отвечал: «Да. Безусловно, я был бы в числе избивавших».

Как необъяснимо, как чудовищно сплетено там, внутри человека. Как там вместе сосуществует преступник и судья, жертва и палач… Как все же это странно.

Через шесть лет в лагерной пересылке под Ташкентом я встретился с Павлухой. Он не узнал меня, а я — узнал, но не подошел.

Павлуха был «вором в законе» по кличке «Сыч».

ЛИСТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Весна тысяча девятьсот сорок шестого года. Ленинград.

Кабинет в райкоме комсомола. За столом секретарь райкома. Чуть поодаль, в креслах, седой, с усталым лицом человек и я.

Сильно накурено, хотя курящий один — хозяин кабинета, он же единственный, который молчит.

— А в войну… Что вы делали?

— Был в ремесленном. В сорок втором эвакуировались. В мае.

— Куда?

— В Киров. Вернее, под Киров.

— А родители?

— Мама умерла. В блокаду. И отец…

— Он был член партии?

— Да.

— Так, что — под Кировом?

— Ремонтировали вагоны… Разбитые, обгоревшие… Подавал заявление, чтобы на фронт… Вернули обратно. «Здесь, мол, тоже фронт», — и ни в какую. Кто сбежал — привезли под конвоем. Даже суд был. Как дезертиров судили.

— Вы же тоже оттуда сбежали. Когда?

— В конце сорок четвертого, в ноябре. Причем очень просто. Залез в вагон к телятам. Их в Ленинград везли. В сене и доехал. Сразу в райком, написал заявление.

— Это мы знаем. Кроме русского, никаким языком не владеете?

— Нет. В школе английский был. Сейчас ничего не помню.

— Почему вы нас интересуете, знаете?

— Да. Мне сказали.

— Кто?

— Вот… Товарищ секретарь.

— И как вы сами на это смотрите?

— Как вам объяснить… Из всех чувств у меня, пожалуй, осталась одна месть. Ведь если б не война… Она отняла у меня всё и всех. Я тут подсчитал как-то только родных: двоюродных братьев, сестер, бабушек и дедушек… Шестнадцать! Не считая родителей. И сделал это фашист. Он один. Отсюда и месть. Остался еще подпольный фашизм, предатели из наших. Всякая сволочь, которая… В общем, хочу трудного и опасного дела. Полезного.

— Зачем же вы в железнодорожный техникум поступили?

— А куда? У меня всего девять классов. Хотел на юридический в университет, на режиссерский в театральный…

Даже заявление не приняли.

— У вас есть любимая девушка?

— Да. Людмила Фридман.

— С родителями ее знакомы?

— Я часто у них бываю.

— Расскажите о них. Они евреи?

— Отец. А мать русская. Елизавета Сергеевна — домохозяйка. Яков Михайлович — закройщик. В швейной мастерской работает. Сестренка есть. В школу ходит.

— А у вас из родных?

— Никого. Где-то живет тетя — мамина сестра, но я не имею с ней связи.

— Почему?

— Они не любили друг друга. Мама и она…

— Отчего?

— До войны это случилось. Мама рубила кости для студня, а рядом тетя стояла, и ей в ногу отлетел кусочек. Вот такой… Через неделю нога покрылась какими-то пятнами. Вскоре получили от тети письмо. С проклятиями.

— Вы пьете?

— Бывает… На вечеринках.

— А отец пил?

— Нет. Никогда.

— Вы, я заметил, не очень охотно говорите о нем. Не ладили?

— Да нет. Просто…

— Понимаю. Простите.

Мужчина поднялся, подошел к секретарю, что-то шепнул ему. Тот вырвал лист из большого блокнота. Положил на край стола.

— Пишите заявление, Виктор. Садитесь сюда…

Так родился первый в моей жизни серьезный документ:

«НАЧАЛЬНИКУ ЛЕНИНГРАДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР

от Кострова Виктора Александровича 1926 года рождения.

Урожд. г. Ленинграда. Член ВЛКСМ с 1943 года.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в органы Госу дарственной безопасности в качестве курсанта Оперативной школы.

Хочу посвятить свою жизнь борьбе с врагами Родины.

2 марта 1946 года. В. Костров».

ЛИСТ ПЯТЫЙ

Имя — Люся Фридман — ассоциируется у меня с ожогом…

Ленька влетел ко мне часов в пять. Я только что вернулся из техникума и жарил на плитке макароны.

— Ну, знаешь ли! Вместо поисков любви, он жарит мучные трубочки!.. В тебя влюблен экземпляр неизмеримой красоты! Богата сказочно. Монте-Кристо в сравнении с ней — жалкий бродяга и, самое главное — ее особняк в четверти лье… Точнее: трамвайная остановка от твоей берлоги!

Ленька всего месяц в Ленинграде. Его эвакуировали во второй день войны и там, в далекой и сытной Туркмении, Ленька вырос, закончил десять классов и избавился от прыщей. Сейчас сдает экзамены в Театральный и крайне успешно. Ленька очень фасонит этим и не очень искренне сочувствует мне, у которого даже заявление не приняли. Костюм на Леньке шикарный: серый с искрой. Галстук бордо и новые американские туфли с медной пряжкой.

— Быть должны мы у них в девятнадцать ноль-ноль! Но будем в девятнадцать десять. Приходить вовремя — плохой тон. Ты не реагируешь?

Я посыпаю сахарным песком макароны и думаю о другом… (Он везде и всем называет меня другом. Все время, как приехал, твердит о дружбе и жалуется, что в «изгнании» был один. Но почему все-таки он ни разу не спросил, как я жил тут, как умерла мама, что я думаю делать. Вот и сейчас… Он даже не догадывается, что мне и надеть-то нечего.)

— Нет, вы посмотрите на него! Он даже не ощущает романтического стечения обстоятельств!

Гость вырвал вилку из рук, ткнул в макароны и упал на диван.

— А ничего… Итальянцы — не дураки! Но ты… Извини меня. Итак, на днях ты шел по улице. Ковбойка, закатанные рукава. Выгоревший волос и печальные глаза. Тебя узнают и влюбляются. Она ведь в нашей школе училась… Я дал слово, что приведу тебя сегодня. Будет папа, будет мама, очаровательная сестренка и три девочки для меня.

— Я не иду.

— Не идешь?

Ленька перестал хрустеть макаронами. Он был очень смешон с набитым ртом.

— Но она умрет, — зашептал Ленька, — за ней следом умрут ее мама и папа. За ними — сестренка. За сестренкой последую…

Ленька заморгал часто-часто и, проглотив жвачку, заплакал. У него полились слезы. Настоящие слезы. Это было уже сверхъестественное. Я тут же простил ему болтовню о дружбе, его раздражающе богатый костюм, простил ему все. Он был талантлив. Несомненно талантлив.

— Как ее имя? — спрашиваю я, словно действительно решил избавить их всех от смерти.

— Людмила. Урожденная Фридман, — отчеканивает Ленька. — Цвет волос — жженая охра. Глаза, как у всех красавиц, огромны. Карие. С небольшим налетом патины… Надеюсь, значение последнего слова известно Вашему Преосвященству… (Я киваю головой.) Длинные невесомые пальцы. Такими играют на арфах или совершают дворцовые перевороты.

— А как обстоит дело с безымянным пальцем на левой ноге? — беру я Ленькин тон.

— Жемчужный ноготок на розовой мякоти сустава.

— А мозоль?

— Фу… Циник. Одевайся.

— Во что?..

Вопрос обескураживает Леньку. Приняв позу мыслителя, Ленька стал думать. Думал он минуты две. Я приканчивал макароны.

— Покажи брюки.

Тщательно осмотрев хлопчатобумажные серенькие брюки, купленные на барахолке полгода назад, Ленька щелкает пальцами.

— Это может стать пикантным! Нужен утюг и мокрая тряпка.

Утюг грелся на плитке неправдоподобно долго. А когда я в десятый раз подошел, чтобы пощупать его, уже не надеясь, что когда-нибудь эта чертова громада нагреется… пальцы прилипли к нему. Я заорал так, что, кажется, до сих пор помню этот крик. Ленька подпрыгнул и начал скакать вокруг меня, тоже скачущего и воющего. Потом, вспоминая, Ленька утверждал, что это был настоящий туземный танец в честь бога огня.

Без пятнадцати семь выходим на Невский. Брюки стоят колом. Забинтованная рука воняет постным маслом. Вельветовый пиджак жмет в плечах. В кармане бумажка, покупательная способность которой унизительно ничтожна.

В спину дует ветер. Колет пылью затылок. Мешает говорить. Ноет рука, и хочется вернуться, лечь на диван и полистать книжонку…

Но меня несло. Несло с попутным ветром туда, где ждали красивые начала и мрачные концы, бесценные находки и безвозвратные потери…

У Екатерининского сквера приобретается букет. Сдачи у тетки нет. Вместо нее добавляется еще одна хризантема. Точность прихода близка с расчетной: Ленька ежеминутно смотрит на часы. На пятом этаже он стучит по цифре «13» и говорит ободряюще:

— Нам не сюда, Виктор! Не сюда!

Из соседнего двенадцатого слышен голос Шульженко:

«И радость приносят минуты и счастье приносят порой…»

Звоним. Ленька входит первым.

— Точность — вежливость королей! Но в семнадцатом это упразднено вместе с монархией.

В ответ рассмеялись.

— А вот и обещанное…

Ленька отходит в сторону, пропуская меня.

Залитая светом прихожая. У высоченного зеркала, прислонившись к нему, стоит она… Точнее, они, так как «ее» — две: одна в фас, другая — в профиль. И обе красивы. Очень красивы.

Протягиваю забинтованную руку с пятью хризантемами. Сейчас, при ярком свете, я вижу, какие они мятые и вялые. Начинаю краснеть. Надо что-то делать. Перевожу взгляд на ту, которая в профиль, и нахально выпаливаю:

— Это Леня для вас выбрал…

Не знаю, поняла ли она мое смущение, оценила ли нахальство или вообще не заметила жалкого вида цветов, — не знаю. Она принимает букет, подает РУку.

— Людмила.

— Виктор.

— А это моя мама…

В прихожую вошла костлявая женщина с большим ртом.

— Мам, это Виктор.

— Проходите в комнаты.

Взяв Леньку под руку, хозяйка уводит его на кухню.

Информация оказалась точной: в комнате три девушки. Две сидят на диване, третья — танцует, видимо, показывая новые па. Она смело взглянула на меня, выключила патефон и села у пианино на вертящийся стулик.

— Девочки, — объявляет Люся. — Это Виктор…

Подхожу к пианино, пожимаю влажную руку.

— Тома.

— Очень приятно.

Сидящие поднимаются разом и одновременно выпаливают: «Риваммаля», что означало: Римма и Валя. Прыснули и одновременно опустились. Люся садится к ним. Показывает мне

на стул. Спрашивает:

— Где это вас?.. Авиационная катастрофа?

Подруги снова прыскают. Она разглядывает меня. Она не может не видеть замухрышных брюк, пиджака, который давно мал, скороходовских ботинок, дважды побывавших у сапожника. У меня ничего нет, чем бы я мог закрыться от ее любопытства. А тут еще эти… трое. И красное дерево вокруг… Я никогда не видел так много красного дерева сразу. Диван, столик, две горки, набитые фарфором и хрусталем, почти в полстены книжный шкаф, пианино — все красное дерево старинной работы. Ковер на полу, ковер на стене, на диване.

Я понимаю, что глазею по сторонам, но я ничего не могу с собой сделать: вещи кричат, показывают себя, навязываются.

— Он онемел при этой же катастрофе? — спрашивает одна из прыскавших.

— На самолетах не летал. Не пришлось… — (Облизываю сухие губы)… — У меня утюг дома — килограммов десять. Все, что от бабушки осталось. Поставил его на плитку и, извиняюсь, брюки снял. Не на себе же отпаривать?.. Хожу по комнате. С Леней беседую о красоте, о любви… Когда о любви кончили, я его и цапнул. Думал, что холодный еще… Вот и все.

Настала такая тишина, будто только что рассказали про обезглавленный труп. Смотрят на меня, каждый по-своему, но одно общее — напряжение.

— А из вас самая красивая, знаете, кто?..

Задал вопрос и сам не знаю на него ответа и не знаю, как он возник, и почему я позволил себе сказать это вслух. Девушки переглянулись и снова уставились на меня. Кроме нее. Теперь она не смотрела. Она ждала услышать приятную для себя правду. Но я солгал. Я понимал, что она несомненно красивее остальных, но я мстил ей за цветы, за авиационную катастрофу, за обожженные пальцы и за красное дерево, которое уже однажды крушил топором.

— Вот… она.

Все повернулись к пианино. Девушка вздрогнула. Глаза стали синие-синие. Закрыла колени ладонями и отвернулась. Римма и Валя схватили Томку и стали тискать ее.

— Обольстительница!

— Колдунья!

— Пустите меня! Риммка, как не стыдно?! Пустите меня!

Но Валя обняла ее и так сильно жалась к щеке, что у Томки кривился рот, а от глаз остались одни морщинки. Я пересел к Людмиле.

— Мне лучше уйти…

Она закрыла лицо руками и тихо сказала:

— Я тебя люблю. — Поднялась и пошла к дверям, сутулая и совсем некрасивая…

«— Дуня, давай блинов с огня!.. — задыхался скороговоркой хмельной баритон. — Дуня, целуй скорей меня!..»

Хлопают двери. Мелькают ноги. Гремит посуда. Прокричал Ленька: «Не задавить бы!»… Снова мелькают ноги, а незнакомый мне баритон уже поет про студенточку:

«…На берегу пруда твои очи целовал я…»

— А вы что, не танцуете?

Передо мной девочка лет десяти. Она водит себя по губам кончиком косички и покачивается в ритме мелодии.

— Я могу пригласить, если на ноги наступать не будете…

— Не буду, — пообещал я и взял ее руку.

Комната полна танцующих. Римма и Валя — задумчивые и важные. Ленька ведет Людмилу, закрыв глаза и шепча ей, вероятно, стихи. Елизавета Сергеевна показывает Томе, как танцевали танго в старину.

— Куколка моя, это делается так…

— Это смешно.

— Смешно? Это трогательно. Смотри…

Из красного футляра донеслось густое «боммм». Нас приглашают к столу.

— А почему вы на меня не смотрите? — лукаво спрашивает партнерша.

— А у меня в школе по поведению двойка была.

— Наша Люда вам нравится?

Нас разъединяют. Ее сажают рядом с матерью. Мне оставлено место между Людмилой и свободным стулом.

— Здесь сядет Яков Михайлович, — поясняет хозяйка, — но его ждать не будем. Леонид, откройте портвейн.

Просторный стол завален едой. Людмила кладет на мою тарелку ломтик осетрины, две шляпки маринованных грибов и картофелину.

— Мужчинам водку, — командует Елизавета Сергеевна.

Ленька склоняется в театральном поклоне и наполняет наши стопки.

— Мы в меньшинстве! — печально начинает Ленька. — Многие рыцарские доспехи ржавеют в оврагах. Вороны растаскивают кости лучших мужчин… Но есть великая сила любви! В ней наша надежда! Только она восстановит поредевшие ряды наши… За любовь! За пополнение мира!!

Тост понравился. Все дружно выпили и активно приступили к опустошению стола.

— Страна станет сплошным родильным домом, — продолжал развивать тему Ленька, обгладывая гусиную ногу. — Самая модная профессия — акушер! Я сам иду в акушеры на общественных началах. Виктор идет патронажным братом…

Девчонки хохочут.

— Леня, достаточно… — стучит вилкой хозяйка стола.

— Ну, а если запрещается тема рождения, — не унимается Ленька, — давайте поговорим о смерти…

Новый взрыв хохота.

— Мне недавно историю рассказали…

Но что же такое со мной? Отчего не смеюсь со всеми? Почему, как истукан, повис над тарелкой и ковыряю рыбу, которую не хочу? Я голоден. Я не ел сегодня ничего, кроме макарон. Но я ничего не хочу сейчас… Хочется домой. Остаться одному. Слушать, как за стеной плачет маленькая Катенька. Ее будут долго укладывать спать. Но ей не хочется спать. Ей хочется моргать глазками и хватать мамин нос. А потом в коридоре будут долго шептаться Николай Васильевич из четырнадцатого и рыженькая Соня из девятого. К ней нельзя — у нее больной папа. К Николаю Васильевичу тоже нельзя: что скажут люди?.. И будут стоять они в коридоре до полуночи. А потом все смолкнет, и во всем мире останутся только ходики и я… Я буду мысленно раскладывать перед мамой гербарий. Схожу с ней в кино. В Зоологическом саду она купит мне пива. А потом я усну…

Ударило по ушам визгом и смехом. В притворном ужасе визжит Люсина сестренка. Качает головой Елизавета Сергеевна.

— Надо же! Надо же!

Остальные хохочут, как сошедшие с ума. Лишь Ленька с серьезным видом сооружает себе бутерброд.

— Хочу вам доложить, что в мировом искусстве тема смерти разработана шире, чем тема рождения.

— У Горького, — вспомнила Римма, — появление ребенка, это же…

Но ей не дают привести сравнения. Заговорили все разом.

— «Война и мир»! Целая глава! Вспомните!

— А у Пушкина?!.. «Принесла царица в ночь…»

— Я только забыла где… — вставляет Люся.

— Крохи! — кричит Ленька. — Фрагменты! Откройте любой том, читайте наугад страницу и вы наткнетесь на покойника! Высшая форма жизни — трагедия! Отнесемся к ней с юмором…

Ленька выпивает водку, целует руку Валентине и тянется к грибам. Тут он замечает меня…

— Виктор! — Обшарил глазами стол. Заполняет водкой и портвейном вместительный бокал и ставит передо мной.

— Ваш номер, маэстро!.. Прошу к рампе!

Я неуклюже встаю, упираюсь ладонями в стол. Смотрю, как носятся в бокале розовые вихри…

— Не хочу. Тошнит что-то…

Вернул меня к самому себе дующий в лицо ветер. Я подходил к дому. Переходя перекресток, почувствовал рядом чей-то локоть.

— Тамара?..

— Я иду за тобой с самого начала.

Она виновато улыбнулась.

— Ты, оказывается, косолапый немного…

И опять виноватая улыбка.

— Где твое окно?

— Оно во двор выходит.

— А с моего Исаакий виден.

— Красиво.

— Ага. По утрам солнце от купола отражается прямо в комнату…

— А ты что ушла?

— Так. Яков Михайлович, вот он мне нравится. Люсин отец. Тихий и умный старикан. А остальные…

— Что остальные?

— Давай не будем о них.

— Не будем.

— А мне только до одиннадцати разрешается…

— Строгий папа?

— Ужас. Как-то из театра пришла в полдвенадцатого. Показала билеты. Так он звонит в театр: «Когда кончился спектакль?»

— Очень тебя любит.

— Не верит. Он никому не верит.

— А ты его любишь?

— Я его боюсь…

Помолчали.

— Леня говорил, что у вас коридор длинный-предлинный, как в тюрьме.

— Могу показать.

Коридор произвел на нее гнетущее впечатление. Она сжалась в комочек. Даже походка изменилась.

Я вел ее за руку по этой бесконечной прямоугольной трубе, по которой на самокате прокатилось мое детство, по которой я пробегал отрочество, и, еле волоча от голода ноги, вполз однажды в юность…

— Еще далеко?

— Да нет… Еще три комнаты. Четвертая — моя.

Для приемов комната была готова меньше всего. Один стол чего стоил! Миска с водой и тряпкой — следы утюжки. Скатерть в пятнах. Диван продавлен. На окне грязная посуда.

В углу, на табурете, кирпич. На кирпиче — электроплитка.

— Сними пальто. Тепло же… Хочешь чаю? У меня конфеты есть. «Радуга».

— Которые, как помадка? Я их люблю…

Она вешает пальто на гвоздь, вбитый в дверь. Садится на диван. Закрыла колени ладонями.

Закипел чай в кастрюле. По стеклам розгами хлестал дождь.

— У нас до войны, Виктор, три комнаты было… Вещей всяких. Безделушки. Цветы. А сейчас тоже ничего не осталось. Отец пропил. Мы с мамой этой осенью приезжаем — в деревне отдыхали у родственников, — идем в сарай за дровами, а дров и нет. Пропил. Теперь у нас холодно-холодно… И комната тоже одна. Те две — сдаем.

— Он что, не работает?

— Он на пенсии. Получает две тысячи двести, а маме — ни копеечки…

— Что-то пенсия больно большая.

— А он же в органах служил. Был начальником погранзаставы. Потом в Управлении работал. Полковник. Орденов куча… А у тебя фотографии мамины есть?

Достаю альбом.

— Вот мама. А это — я.

— Какой толстый!

— А это — мама перед войной…

— Красивая…

Потом пьем чай с «Радугой». Томка разрумянилась и чувствует себя превосходно. Испортили настроение ходики. Ровно десять. Бегу к соседке проверить: может, мои спешат?.. Нет. Все кончено. Она уходит. Провожаю ее до трамвая. Промокший возвращаюсь и ложусь на диван. Рядом раскрытый альбом. Мама смотрит на меня и улыбается. Будто передо мной извинилась сейчас и улыбнулась виновато…

(Стоп!) Вскакиваю с дивана. (Боже мой!.. Боже мой!.. Так ведь они похожи! И улыбка та же. И глаза синие. И голос, когда она говорила про дрова. Ну, точно, как мама.)

Мчусь на кухню. Беру соседское ведро и тряпку. Всю ночь скоблю пол. Вытираю пыль. Выношу мусор.

ЛИСТ ШЕСТОЙ

В коридоре шумел сорок пятый год. Въезжали жильцы. В большинстве своем новые. Из старых вернулась лишь тетя Зина в свой тридцать первый. Вернулась с двумя очаровательными карапузами, и в первый же день весь дом узнал, что она ждет третьего. По-прежнему она много пила и хохотала. И на кухне теперь постоянно сидела совсем старая тетя Нюра. Я как-то подошел к ней с повинной… Она долго смотрела на меня мутными, слезящимися глазами, но так и не вспомнила ни о щах, ни о тапочке…

— Шпана, — сказала она тихо и беззлобно, по привычке, и отвернулась.

Новые жильцы навешивали двери, вкручивали в ржавые патроны лампочки, чистили краны, из которых наконец потекла вода.

Из техникума я возвращался рано и, наспех покончив с домашним заданием, заваливался на диван и читал. Учился я, откровенно говоря, плохо. Не хотел. Хотя факультет наш числился самым интересным и перспективным. «Метростроевский». Моего полного равнодушия к метро не рассеял и учебный фильм, от которого все в техникуме долго ахали.

…На экране в течение часа мелькал цветной частокол колонн то гладких, то лихо закрученных, то совершенно прозрачных, то в виде бронзовых снопов, взлетающих ввысь… Неслись в зал эскалаторы с улыбающимися девушками… Стремительно наплывали и тут же сменялись новыми мозаичные панно, на которых было буквально все: трактора и караваи, нефтяные вышки и фрукты, наковальни и цветы, и лица… Сотни лиц. Все розовые и что-то кричащие…

Фильм сопровождался текстом. Два голоса, мужской и женский, стараясь перекричать друг друга и оглушительный марш, орали:

«— Мы взроем скалистые горы,
Коль нам помешают идти!!!…

(На экране: шахта метро. Взрыв. Рушится порода.)

…От Крайнего Севера к Гори
Проложим стальные пути!!!»

Мчится поезд. Бликующие рельсы убегают во мглу тоннеля. Мавзолей. Сталин машет рукой шагающим метростроевцам. Наезд. Улыбающееся лицо. «Конец фильма».

Мои тройки не беспокоили учебную часть. А в комитете комсомола меня нарасхват: одноактные пьесы ставил я, я же автор сатирических куплетов. Исполнялись они мною же в сопровождении двух аккордеонистов. Раз в месяц вывешивалась газета техникума. Оформлял ее я. В июле попадаю в число ста ленинградцев, отобранных для участия во Всесоюзном параде физкультурников…

Вернулся из Москвы загорелый, сытый и веселый. Кроме впечатлений, привез три плитки шоколада и парадный костюм: кремовые брюки с пластмассовым ремешком, льняную рубашку с русским воротом и белые парусиновые туфли на коже. С вокзала позвонил Томке. В ожидании ее хожу по комнате, поглядывая на свое отражение в зеркале.

— Ой, какой канареечный! — (Это влетела Томка.) — Это там выдали? И насовсем?!

— Насовсем.

— Бесплатно?

— Конечно.

— Вот здорово! А у меня зуб откололся. Вот посмотри…

Она подскакивает на цыпочках и тыкает пальцем в открытый рот.

— Ерунда.

— Знаешь, как жалко. Ну, как там? Рассказывай все по порядку.

Это я ждал и был готов.

— Ты садись, садись. Это тебе…

Подаю шоколад. Все три плитки.

— Ой, зачем же? Мне только одну.

— Мне не надо. Я им обожрался там.

— Тогда две.

— Бери и не стесняйся. Так вот, значит… Привезли нас в Балашово. Это под Москвой. Расселили в казармах и начали вовсю кормить. Целыми днями ели. Ели и загорали. Ну, вечером кино там, лекции всякие… Недели через две начали тренировать. Физкультурный шаг знаешь?

— Нет.

— Это вот… Смотри! Раз-два! Раз-два! Локти сюда! Взмах видишь? Раз-два! Раз-два!

Я зашагал от окошка к дверям и обратно. Томка глядела на

меня обалдевшая.

— В каждой шеренге по десять, но все делают четко, как один. Головы подняты вот так… Глаза смотрят на Мавзолей! Раз-два! Раз-два!

— А девочки?

— Девчонки отдельно. Платья у них с вышивкой. На лбу кокошник. Потом ночью репетиция была. На самой площади… А перед тем несчастный случай произошел. На шоссе мотоциклисты репетировали, и один на скорости как врежется в дерево!

— Ушибся?!

— Ха! «Ушибся». Вдребезги! Где винтики, где кишки!.. Ну, вот… Наступил день парада. Мы, конечно, в колоннах стоим и на часы смотрим. Как только десять начало бить и сразу барабаны: бум-па, па, пам-па! Бум-па, па, пам-па!.. Из динамиков: «Ша-а-а-а-а-гом… Арш!!» На площадь выходит Амбарцумян. Абсолютный чемпион! Красная майка. Герб во всю грудь. Мышцы вот такие… В руках знамя. Тридцать квадратных метров! Ветром, как хлопнет! Как хлопнет! Древко из алюминиевой трубки и то гнется… А он хоть бы что! За ним колонна героев. Человек сто. Вторая колонна мы, эрэсэфэсэр. Я третьим от края шел. Трибуны полные… Иностранцев набилось! Русских и не видать совсем. По всей площади ковер из войлока. Зеленый. Вот такой толщины… Хочется смотреть кругом, а нельзя. Шаг можно сбить. Мавзолей прошли — я и моргнуть не успел. Но я все-таки обернулся… Сталина сразу узнал! Он в белом кителе, а рядом Калинин в шляпе. Его тоже сразу узнал. Ну, прошагали мы на другую сторону площади и стоим. И тут оркестр вальс заиграл. В одну минуту поставили турники. А турнички семь метров! Представляешь?! «Солнце» крутили минуты две. Чемпионы, конечно… Потом у самых трибун установили трамплины. Стальные такие. С откосом. И вот на площадь вылетает мотоцикл! Скорость жуткая. Все быстрей, быстрей! Как взлетит на трамплин! И в воздух! Колес не видно становится… Трения нет, и они как бешеные: зззззз!.. Летит, летит в воздухе и раз! От покрышек только дым! Вот один из них, ну, тот, что рассказывал, — на репетициях и разбился… А потом два грузовика. На них площадка с искусственным льдом. Круглая. Бортика, учти, нет. Она в белом. Он в красном костюме. Вальс на коньках!

— Красивая?

— Кто? Фигуристка? Откуда я знаю? Мы ж далеко стояли. Лиц не видно. А почему шоколад не ешь?

— Я потом. У тебя, Витя, так брови выгорели… Совсем нету.

— Может, на улицу пойдем?

— Пойдем, — радостно соглашается Томка.

Но уйти не удалось. В коридоре мы наталкиваемся на Леньку.

— Ты мне нужен — вот так…

Он пилит ладонью кадык и затаскивает меня обратно в комнату.

— Разговор мужской, Тома.

— От нее у меня секретов нет. И вообще мы собрались гулять…

Но за Томкой уже закрылась дверь.

— Чего тебе?!

— Я тебе, как другу…

— Иди ты на… Что ты путаешься под ногами?! Вечно он дает советы.

— У нее, между прочим, есть отличный парень. Летчик…

Я очень хотел его ударить. И я сделал бы это, но вы не знаете Леньки. Он стоял ко мне спиной и открывал моим перочинным ножом бутылку портвейна.

— Яблочки от твоей будущей тещи…

И действительно, вынимает из кармана два больших желтых яблока.

— Давай спокойно выпьем и спокойно поговорим.

Яблоки оказались сладкими. Портвейн крепким. Я сидел на подоконнике и рассеянно слушал.

— Ты можешь меня презирать. Пожалуйста. Но верить-то мне ты обязан. Ведь это интеллигентная семья. Может, ты думаешь, что она белоручка? Ошибаешься. Люда прекрасно готовит. Яков Михайлович — портной выс-ше-го класса! У него обкомовские шьют! И потом связи… Ты же сам говорил, что тебя тошнит от метро. Испортил тогда вечер. Нагрубил. Я понимаю — нервы, переживания. Давай еще. Держи…

Я отхлебнул глоток и поставил стакан на окно.

— Короче, я иду туда и передаю таинственным шепотом, что ты ее ждешь. Остальное зависит от этого…

Ленька постучал по моей голове и, напевая тарантеллу Листа, вышел из комнаты.

Стало невыносимо тошно от всего. От слов, от вина, от яблока. И летчик, конечно, есть. Это не выдумка Ленькина. И ноги чешутся… Кусаются брюки, черт бы их… Действительно, — «канарейка».

Сдираю обновки. Переодеваюсь в свое, привычное. И тут я увидел шоколад. Все три плитки лежали на диване там, где сидела она…

— Ну, и пусть… — произнес кто-то моим голосом.

На окне стакан. Почти полный. Выпиваю в два глотка. Раз-два! Еще в бутылке. Остатки. Из горлышка — раз!.. Доедаю

яблоко. Огрызок в форточку.

— Ну, и пусть…

Смялось внутри все.

— Раз-два! Раз-два!

Падают знамена… Только почему они все желтые?..

— Ну, и пусть желтые…

Очнулся от духоты. В лицо кислым жаром дышит диванная подушка. Тишина. Но я сразу почувствовал, что в комнате кто-то есть, кроме меня.

Поднимаю голову.

— Ты давно пришла?

— Четыре часа.

— Неужели я столько спал?

— И, как мамонт, храпел.

Людмила подходит и, слегка толкнув меня бедром, садится. (Какие большие глаза… И патина есть… Ленька не врал. И в этом же цвете на груди пушистые елочки из шелка… На черной шерсти костюма…)

— Это я сама. Нравится тебе?

— Да.

— А хочешь, я у тебя останусь?

— Зачем еще?

— Как зачем? Вместе спать будем.

— Ты что?..

— Что же тут плохого? Я же тебя люблю.

Она долго раздевается. Мучительно долго. На диване стало тесно и душно. Пахнет духами и еще, одновременно противным и приятным. Слова куда-то делись. И к лучшему. Хочется смотреть и трогать. Смотреть запрещено. Свет погашен. Подушка покрыта волосами. Они не дают спокойно лежать. Под ладонью ее грудь. Тянусь губами. Хочется укусить. Хоть чуть-чуть. Сосок вежливо вырывается и убегает вниз, к моему сердцу. Мешают ноги. Ее. Руку не пускает на помощь. Очень жарко. Желание приказать. Чтобы повиновалась. Чтобы не мешала. Сейчас крикну… Вместо крика, больно целую ее губы. Облизываю глаза, шею. Она слабеет вдруг вся. Тело растворилось в сладкой духоте. Слышу и вижу эту сладкую духоту животом. Это вот здесь. Здесь. Далеко от меня. Теперь очень близко. Опять недостижимо далеко. И снова так близко… Обхватила руками крепко и вытянулась вся. Как мертвая… Бухало сердце. Колко стрекотали в висках пьяные кузнечики.

(…Как быстро все. Как это все коротко…)

— А ты маме понравился.

Она целует мое плечо и выскальзывает из-под одеяла. Зажгла

свет. Одевается.

— Мне надо к Риммке. Смотри… У меня разные ноги. Не заметно?

— Ты что, уходишь?

— Я же говорю… Мне надо к Римме. Она самая близкая подруга. Корабль обещала подарить на свадьбу.

(Тело белое-белое. И розовые точки на икрах и выше колен тоже. И на спине.)

— Зачем корабль? Какой корабль?

— Настоящий такой, с парусами, мачтами… Старинный. А на корме наши имена будут… Это в «Елисеевском» шоколад покупал? Ты — милый.

Ногтем разрезает обертку.

— Я в блокаду его не ела. Мама, бывало, вся изведется, а я — ни в какую. Этот вкусный. А тот, знаешь, кусками. Американский. Горький такой…

Не спеша доела плитку. Брезгливо осматривает запачканные пальцы.

— Я о салфетку. Ладно? Все равно грязная.

Зацепилась волосами за крючок юбки. Рванула. На крючке осталась прядь.

— Жить будем в большой комнате. Мама отдает кровать. Они все равно спят отдельно… Для Риммки возьму плиточку, ладно? — Шоколад кладет в сумку. Садится ко мне. Целует.

— Не говори никому об этом. Знать будем мы и Риммочка. Ладно? Я помчалась…

И уже в дверях:

— Простыню не стирай. После свадьбы ее надо показать маме. — Она умчалась.

Почему об этом должна знать Римма?.. Корабль с именами… Шоколад в блокаду… Простыню, которую надо показывать…

Еще раз пропускаю через себя все, что произошло тут, сейчас, за какие-нибудь сорок минут… (Было без четверти девять; когда проснулся, я смотрел на часы. Сейчас половина десятого.) Сорок пять минут!..

Как же так?.. Это для меня всегда было самое, самое!..

От мысли, что со мной ляжет в постель голая девушка, останавливалось дыхание… Листая страницы великих книг, я запоминал великие слова и берег эти слова на тот случай, когда рядом будет она…

Но слова не потребовались. Ни одного слова.

И время. Думалось, что его не хватит. Не хватит часов и дней. Не хватит лет.

А тут… Сорок пять минут!..

Длина школьного урока.

ЛИСТ СЕДЬМОЙ

Недели две спустя, перебирая «семейный архив», — кожаный чемодан, набитый документами, письмами, облигациями, — я увидел книжку донора, принадлежавшую маме.

Последняя сдача крови: 6 мая 1941 года.

У меня возникла идея.

В институте переливания крови таких ждали. Один врач из комиссии прямо так и сказал:

— Пять лет такого бычка ждали.

Бычок был, положим, тощ, но необходимые данные для выкачивания комиссия находит. Через час, облегченный на 250 граммов и богатый, как воин Тамерлана после очередного похода, толкаюсь на рынке. Со мной паек донора. Продукты рвут из рук. Мятыми деньгами набиты карманы. Только за топленое масло, не торгуясь, платит интеллигентный старичок пятьсот рублей. Тут же из продавца превращаюсь в покупателя. Английский костюм. Серо-голубая шерсть. Накладные карманы с пуговицами. Оранжевая этикетка с черным львом. (Ленька из зависти может выброситься из окна…) Звоню Людмиле.

— Люда скоро будет. А почему вы не появляетесь? Вас хочет видеть Яков Михайлович.

— Спасибо. Я появлюсь.

Впервые в жизни сажусь в такси. Мчусь к ее дому. Жду в машине. Шофер предлагает сигареты.

— Не куришь? А я на фронте как закурил, так вот и…

Он начинает фронтовую историю, но я не слушаю. Я жду.

Вот, наконец… Белое пальто. Красная сумочка. Красные перчатки. (Сейчас пройдет мимо машины, а я тихо вслед: «Мисс Лю, вас ждут…»)

Что это?.. Мужчина. В зубах мундштук. Доходят до парадной. Они рядом, в пяти шагах от меня.

— Завтра в шесть, — напоминает она.

Он целует руку, подтверждая, что «завтра» и что в «шесть».

— Поехали, — говорю я шоферу.

— Куда?

— Прямо.

На другой день без предупреждения наношу визит семейству Фридман. Небрежно кидаю на столик в прихожей огромный букет. Елизавета Сергеевна искренне изумлена.

— Смотрите, что принес Виктор! Люда! Яков!

Семья высыпает из комнат. Люся подставляет щеку. Знакомит с отцом. Сестренка бежит за вазой. Георгины ошеломили всех

(стоимость ошеломления фантастична. Позволить такое может только Ревность).

В гостиной пьем кофе. Яков Михайлович действительно милый старикан с большим шишковатым носом, которому ежесекундно необходим платок. Говорим о насморке, о Бунине, о собаках, о спектакле Пушкинского театра и, конечно, о погоде. Я в ударе. Даже ввернул очень кстати не очень приличный анекдот про червяка…

Впервые она посмотрела на часы в половине шестого. Лицо, как мне показалось, стало отсутствующим.

— Папа, прости… Мне надо к Фаине Григорьевне. Сегодня примерка.

(Ну, вот. Началось. Спокойно. Только спокойно.)

— Виктор, ты еще посидишь? Я — не больше часа…

— Я пойду с тобой.

Невероятно, но она соглашается. Выходим из дома. У Гостиного двора снова смотрит на часы.

— Встречаемся здесь, милый. В семь. Что ты так смотришь? Вот чудак. Туда нельзя. Неприлично. И ждать там негде. Не сердись, милый.

Подставляет щеку. Переходит улицу. Белое пальто видно издалека…

Он ждал ее у Филармонии.

Впрыгивает в меня и заменяет собою невероятно страшный и беспощадный зверь. Зверь не видит домов, машин, пешеходов. Только белое пальто, которое уводит Другой… Взмокли ладони. Стали липкими пальцы. Зверь собирается задушить их. Сперва его. Потом ее… (Но ведь она мне нравится не очень. Голая, так она совсем не красивая. И потом — глупая она…)

…Глупец ты! Ты же, размазня, пустил ее на диван! Молчанием дал согласие на женитьбу! Поверил каждому ее слову! И простыня! Ты забыл о простыне, глупец!..

Зверь забирается в Михайловский сквер. Перебегает от дерева к дереву, сокращая расстояние. Они идут вокруг. Прямо по площади. Заворачивают в проулок. Скрываются в подворотне. Пересекли двор. Еще одна подворотня. Остановились. Открыл дверь. Пропускает ее вперед…

Они здесь. За дверью, обитой клеенкой. На клеенке мелом: «кв. 3». Бегу во двор. Окна высоко. Видны только занавески. Вернулся. Дернул за ручку. Ногтями скребнул по клеенке… Диск французского замка. Ошпарила затылок сумасшедшая мысль. Нужна шпилька! Булавка!.. (Как-то в ремесленном мы не могли попасть в мастерскую. Потеряли ключ. Пришел преподаватель и канцелярской скрепкой открыл замок.)

Шарю в карманах, хотя знаю, что в них ничего нет и быть не может. Ищу в подворотне. В поисках выхожу во двор. Ничего нет!! Вою от отчаяния почти вслух. Делаю второй круг по двору. Натыкаюсь на детей. Они возятся у велосипеда. Машинально взглянул на вязаную шапочку. Шейка перетянута шарфом… Булавка!!! Хватаю мальчонку. Поднял в воздух. Сажаю и мчу по двору, толкая сзади… — Уууууу-ух!… Он покатился дальше. Я — в подворотню. Булавка не лезет. Толста. Сплюскиваю зубами. Мягкое «щелк» и…, дверь сама пошла на меня.

Темень. Споткнулся. Ощупью, на четвереньках, взбираюсь по лестнице. Уютный коридорчик. Светится стеклянная дверь. Прилипаю к вешалке, рядом с белым пальто, и перестаю дышать.

Побежали секунды. В тишину квартиры, как сквозь вату, долетают со двора детские голоса. Но вот… звук. Звук настолько неожиданный, что не сразу понимаю, что это… Так, кажется, шелестит бумага, когда перелистывают книгу.

— Начали, милый…

(Это она!!!)… Но зверь не бросается в комнаты. Не душит и не рвет жертвы на части. Зверь поджимает хвост и собирается покинуть меня. Это из-за того, что все вокруг потекло… Все начало таять. Мягкими толчками входила и заполняла коридор мелодия. Вот еще один рояльный аккорд с россыпью нежных нот… Еще, почти такой же, но более грустный. Вступил голос. Будто тронули хрусталь…

Взгляни. Под отдаленным сводом
Гуляет бледная луна.
Своим сияньем…

Пенье оборвалось. Мелодия уходит вперед, ломается и обрывается тоже.

— Там кто-то есть… — сказал хрустальный голос.

Дверь распахнулась. Передо мной — мальчик. Бледный и очень худой. Он спокойно разглядывает… белое пальто. Из комнаты выходит Людмила.

— Я же знал, что тут кто-то есть. Вы разве не слышите?!

Она хочет что-то сказать мне, но не успевает. В дверях мужчина.

— Папа, ты тоже ничего не слышишь? Вот же…

Мальчик ткнул рукою в пальто. Потом рядом. Потом в меня.

— Простите, Игорь Романович, — тихо говорит Людмила. — Это Виктор… Понимаете?

Мужчина улыбнулся.

— Ванечка, пойдем, милый. Пойдем.

Мальчик послушно уходит за Людмилой. Мужчина тоже. Я остаюсь у вешалки в состоянии полнейшего столбняка.

Вышла она тотчас. Надела пальто. Схватив меня за рукав, тащит к выходу.

До сквера прошествовали в глубоком молчании. Скамейки пусты. Мы сели.

Когда на Демидовом переулке взорвалась пятисоткилограммовая, Ванечке не было и двух лет. Мать не проснулась. А Ванечку откопали девчонки из ПВО. Игорь Романович, вернувшись с фронта, отыскал сына в детприемнике города Кемерово. Ванечка был слеп. При встрече он мял ручонками лицо отца и радостно выкрикивал:

— Слышу нос! Слышу глазки!

Мир для него был миром звуков. Музыку он читал, как мы читаем книги. Пенье далось ему легко и стало наслаждением.

Людмила познакомилась с ними на концерте в Филармонии. Ванечка оказался ее соседом по креслу. В антракте она приняла приглашение Игоря Романовича давать уроки…

Вот и все. Почему она не говорила об этом дома? Почему не сказала мне?

Странные мы — люди. Каждый носит в себе свою, глубоко личную тайну, но не один не прощает этой слабости другим…

На другой день по телефону я сказал Елизавете Сергеевне, что мы любим друг друга. После очаровательно-огромной паузы последовал ответ:

— Надо собраться и все оговорить…

Прежде чем продолжить, я обязан предупредить читающего, что при недостаточно внимательном чтении предыдущего, дальнейшее может стать неясным, или, что совсем нежелательно, — понятым неправильно, поэтому убедительная просьба: не переоценивать свою память, в особенности по отношению к деталям, а перечитать, как перечитывают следственное дело, все с начала, иначе вы, войдя вслед за Виктором в последующее, можете, как принято говорить, заблудиться, и тогда даже я, при всей снисходительности к людской памяти, уже ничем не смогу помочь вам. К сожалению…

Кстати, Вы помните номер комнаты Лидии Васильевны, которая вышла замуж за военного?..

А какого цвета костюм купил на рынке Виктор?..

Вы ехали на работу утром. Вспомните, во что была одета женщина — ваша соседка в вагоне метро…

А вы можете перечислить предметы, находящиеся в вашей сумочке? Портфеле? Прежде, чем ответить твердым «да», — проверьте сами.

Все это очень легкие вопросы для памяти нормальной. Но, если у вас и при напряженном вспоминании не возникнут ответы на них, не огорчайтесь. Можно прожить и так. Так большинство и живет.

(Странно только, что это самое живущее большинство постоянно жалуется, что они «что-то» или «кого-то» не понимают.)

Ну, бог с ними… Оставим их. Нас ждет очередной лист «ДОСЬЕ» за №…

ЛИСТ ВОСЬМОЙ

В актовом зале школы напряженная тишина. Через несколько минут перед нами выступит старейший чекист в отставке Брагин. Все наши попытки узнать о нем какие-нибудь подробности потерпели провал. Секретарь учебной части школы Шурочка, не отрываясь от «Ремингтона», сухо отчеканила лишь пять слов: «Открытие школы поручено полковнику Брагину».

Поднялись в семь. На площади перед Исаакием, тщательно скрывая друг от друга зевоту и куриную кожу, провели физзарядку. Отогрелись за сытным завтраком, после которого смертельно захотелось спать. Но спать не пришлось. В аудитории нас ждала маленькая седая женщина.

— Я помогу вам вспомнить русский язык. Зовут меня. Полина Антоновна. А начнем мы с диктовочки…

Диктант оказался сложным, но не сложно было списывать. Полина Антоновна на память диктовала нам текст, а сама читала толстую и очень потрепанную книгу. Я долго не мог вспомнить сколько «н» в слове «задержанный»…

На сцену вышел маленький человек в синем шевиотовом костюме. В руках огромный старый портфель. Человек прошел за кулисы, вынес оттуда стул. Стул поставлен у самого края авансцены, на него положен портфель. Человек облокотился на спинку и стал молча и внимательно разглядывать нас. Он был похож на грача. Сходству с грачом помогали и темный костюм, и приподнятые сейчас плечи, и сплюснутый нос, и совсем не моргающие глаза, темные и глубокие.

— Я старый и больной человек, — услышали мы тихий и очень домашний голос. — Мне трудно следить за нашим хозяйством, а оно у нас большое, богатое…

Он глазами, только глазами, заставил нас повернуть головы к стене, где висела огромная карта Союза.

— Двадцать семь лет сторожем при этом хозяйстве работал. Потом сказали: «Амба. Глаза у тебя не те стали. Память не та. Штатский костюм к твоему лицу более…» — Замолчал. Смотрит, не моргая, в один из рядов.

— Вон… место свободное. В четырнадцатом… Сидел бы я сейчас там да слушал вместе с вами старого сторожевого пса…

Опять замолчал. Выпрямился. Натянулся струною весь. Пальцами сжал спинку стула, аж белыми стали. И зачеканил фразы железные и красивые:

— Меч вручим после окончания школы! Наш чекистский,

беспощадный дадим меч! Преданными и смелыми друзьями наших друзей должны стать! Врагами врагов! А идеалы ваши вот, — он повернулся всем корпусом к портретам. — …Маркс! Энгельс! Ленин! Сталин! Вот и вся программа школы. Ясно?!

— Ясно!!! — одним ртом громыхнул зал.

Брагин снова облокотился на стул и тихим домашним голосом начал вводную беседу.

Через четыре дня, в одной из очередных бесед с курсантами, начальник Школы рассказал о прямо-таки легендарной биографии Григория Евдокимовича Брагина — почетного чекиста, полковника в отставке, кавалера ордена Ленина и ордена Боевого Красного Знамени.

Но самое интересное о Брагине я узнал на пятый день от Людмилы.

— Это же Томкин отец. Ты что об этом не знал разве? Ее фамилия Брагина. Тамара Григорьевна Брагина.

ЛИСТ ДЕВЯТЫЙ

Нас двести. На нас одинаковая форма, едим мы одинаковую пищу; карандаши для записи лекций у нас одинаковые и спим мы на одинаковых кроватях. Только сны у нас разные…

Плавают в крепком чае недотроги-кувшинки. В лепестки солнца понабрали и всем глаза слепят. На мягком дне пруда лежат полусонные караси…

Это у Жилина. Недаром он всю ночь улыбается.

А у Сережи Горбунова — кривое окошко в дощатом домике. Из окошка торчит перемазанная малиной сестренкина рожица. Вокруг дома тазы медные, и во всех варенье булькает. Малиновое.

Шлагбаум во сне встречался только у Кости Колокольцева. Его мать на переезде работала. У шлагбаума и родила Костю, и качала на нем, чтобы засыпал быстрее.

Только у одного Фомина не было ничего такого. Подкидыш Фомин.

В поезде Москва — Новосибирск (в двадцать четвертом году это было) студент Яша Фомин нашел в купе сверток. В свертке спал человек. Ресницы — по сантиметру, нос — обыкновенный, просто две дырки, а во рту соска.

Бабье орет, как всегда, без толку. Мужики совещаются. Яша слушал, слушал, затем взял сверток и на первой станции вышел.

В ближайшем родильном доме сверток развернули и без труда установили, что обладатель соски — мужчина. А так как разбудить мужчину было нелегко, высказали предположение, что его напоили кумысом.

Яша оформил сверток на себя и, не посоветовавшись ни с кем, назвал находку Александром.

До войны Яша жениться не торопился, а в сорок первом поторопился вступить на минное поле…

Шестнадцатилетний Шурик, получив похоронную, бежит из Свердловского техникума на фронт. Четыре года везенья. С первого дня в разведке. Полный планшет орденов и медалей и ни одного ранения.

После войны Шурик пишет заявление. Возьмите, мол, в органы, хочу быть контрразведчиком. Отказ. Причина отказа весомая — заикание. Дефект этот у Шурика с рождения. Действительно, контрразведчик — заика…

После очередного отказа Фомин выкидывает номер.

Изготовил фальшивые документы, заваливается в Н-скую военно-морскую базу на Балтике и дежурному офицеру учиняет разнос. Из мата в мат кроет отечественный флот от адмирала до

мичмана.

— Тыловые паскуды!.. Раз… вашу… Потемкинские гробы!!

Огромные кулачищи, грудь — столешня, увешанная бронзой и серебром, подполковничьи погоны и «потемкинские гробы», — ввергли молодого капитана в немоту. Он понял из всего только, что его начальство преступно виновато перед другим начальством, более высоким, в необеспечении чем-то очень важным кого-то очень важного…

Прогремев на прощание очередную матерщину, «подполковник» чуть не сносит с петель дверь и, вместе с бензиновым облаком своего «БМВ», исчезает.

Через час на столе начальника Особого отдела флота лежало: а) журнал дежурств по базе; б) список офицеров, получивших увольнительные в этот день; в) бланк-заявка с печатью базы; г) перочинный ножик, личная собственность капитана.

У стола стоял улыбающийся Шурик.

— Я хотел послать его за чем-нибудь и в столе пошарить, но п-пожалел…

Трибунал капитана «не пожалел», а Александр Фомин, после особого ходатайствования был зачислен курсантом нашей школы.

Дружба с Шуриком началась в первый же вечер. Он обыграл меня в шахматы. Я тут же заключаю с ним пари, что запомню его любые сто слов, и выигрываю. В ответ он доверяет мне тайну. А так как у меня не было никаких тайн, о чем искренне тогда пожалел, я дарю ему отцовский портсигар. К портсигару добавляю, что он будет первым гостем на свадьбе, подготовка к которой уже охватила родословное древо фамилии Фридман.

Ежедневно читаю Люськины письма-отчеты. «Закуплено водки — столько-то…», «…заднюю ногу крупного рогатого скота везет из Риги дядя Изя». «Пошито из батиста простыней — 6»… «Столько же дарит двоюродная сестра Бэлла».

Моя комната оклеивается заграничными обоями. «Уже падают листья» — назвал их Ленька. И хотя я твердо заявил родителям невесты, что первое время будем жить отдельно, метаморфоза с моей комнатой меня не обрадовала.

Как-то вырвавшись из школы, я застал у себя двух мужиков. Они наклеивали «падающие листья», хоронили последнее, что оставалось от прошлого: наивный ковровый узор, будто сцепившиеся в вечных объятиях буковки «Ш». Я, помню, часами лежа на диване, мысленно разъединял их… Солнце и сырость, копоть и время покалечили буковки.

Вот кисть плюхнула на них вонючий клейстер — и все…

Потом по коридору с трамвайным звоном протащился буфет. За ним кровать, столь огромная, что на этаже пришлось

перекрыть движение. Потом в комнату вползли тяжелые кресла, закатился круглый стол и прыгнул к потолку оранжевый абажур.

Теперь по комнате могли передвигаться только вещи. Людям оставалось лишь стоять, сидеть, лежать.

— Ты просто отвык от уюта, милый…

Предсвадебные дни покрыли лицо Людмилы алыми пятнами. Она предельно возбуждена и холодно деловита.

— Шлялась на толчке. Тюля, конечно, нет. Один хмырь с занавеской заломил полкуска. «Ты, что, милый, — говорю, — с чердака упал?» Посуды нет. Стоит жаба с немецким сервизом… Нет, ты спроси, сколько он стоит…

— Но зачем это все?

— Как зачем?

Людмила молитвенно закатывает глаза.

— Ну, ей-богу, существует же обыкновенная посуда.

— Посуда?!

Она хохочет зловеще.

— Вот это?!.. Ты имеешь в виду это?!..

В ее руках мой чайник с кривой ручкой и с крышкой от сахарницы.

— Мы — люди, Виктор! Понимаешь, люди!

Держа чайник в руке, словно дохлую крысу, она выносит его вон.

О предстоящей свадьбе в Школе знали все, вплоть до водопроводчика Кириллыча, у которого мы занимали «рублик до стипендии» и чьи похабные анекдоты проникали в аудитории.

Людмила позаботилась и о том, чтобы ее все знали. Она могла ранним утром неожиданно появиться из-за колонн Исаакия, и тогда все двести, махая руками, подпрыгивая и приседая, мужскоц. завистью завидовали мне, который, прервав физзарядку, вроде бы нехотя, подходил к ней, говорил с десяток слов и, получив поцелуй, догонял уходящих товарищей.

Шурик, вступив в права первого гостя, давал интервью.

— Объясняю еще раз, — голосит он на всю спальню. — Вызывают невесту на почтамт. — «Распишитесь за ящик». На ящике наштемпелевано «Па-па-риж — Ленинград»! Открыли… Мать моя! Сорок шестой размер… Цветом под тополиный пух и записочка: «Мадемуазель, это платье сшито из белого флага, что означает п-прекращение сопротивления». Подпись: «Французское сопротивление»…

— Откуда они размер-то угадали?

— Разведка.

— А наши что? Спали?

— Никто не спал. Они в этот момент с француженок размеры с-снимали…

В дверь просовывается голова под фуражкой.

— Вы что, очумели? На лестнице слышно.

Это ночной дежурный по этажу.

— Не шикай, Степа. Иди «беломорину» получи. И потом, до завтрака далеко — п-прослушай свадебное меню. На первое: суп индюшачий. Полторы порции на брата. На второе… Витька, что на второе?

— Сосиски.

Спальня хохочет. Дело в том, что за два месяца в школьном рационе не менялось второе блюдо. Даже частушка ходила:

Все шпионы дураки,
Хлещут свои виски.
Мы — хитрее, мужики:
Лопаем сосиски.

Нельзя соскоблить с памяти иные даты. А жаль.

6 ноября тысяча девятьсот сорок шестого года.

Невский скрипит недавно выпавшим снегом. Ветер выколачивает из флагов голубую морозную пыль. А нам жарко. Шинели расстегнуты, шапки сдвинуты — вот-вот свалятся.

— Жених с друзьями на лихачах, бывало, подкатывал, — бубнит Шурик. — С цыганами, с шампанским. А тут одно в башке: скорее б за стол, да

пожрать вкусненького…

— Пошляк ты, Фомин.

Это отреагировал старшина курса Иван Петрович. Кандидатура его бурно обсуждалась. Приглашать или не приглашать? Мужик он, вроде, ничего. Фронтовик. Лейтенант. Как и мы, курсант, и старшиной курса назначен начальством. Надо же кому-то старшиной быть…

— Усыпит, — предупредил Шурик, когда я намекнул о нем. — От таких цветы у невесты вянут.

— Не обидится?

— Ну и черт с ним. Лучше уж Горбунова.

— Это бы хорошо. Но он сам к невесте собрался.

— Ну, не знаю… Рано начинаешь ягодицы начальству лизать. Еще налижешься.

— Ты что, дурак, что ли? Элементарно неудобно. Есть же какая-то этика.

— Не этика, а подхалимаж.

На этом и кончили. Однако накануне Шурик сам подошел к

Ивану Петровичу.

— Венчание у Кострова. Слыхал? Если глупость не будешь болтать, п-пригласить можем.

На лестнице Шурик «падает в обморок».

— Ой, пирогом ударило! Братцы, умираю!

Тащим «труп» Шурика по последнему маршу.

— Во имя отца, дочери и кухонного духа!

Шурик осматривает нас, поправляет ремень Ивану Петровичу. Я нажимаю кнопку звонка.

В прихожей, в окружении подруг, стояла невеста.

Шурка хватанул шапку оземь и заорал во весь дух:

— Горько!!!

Иван Петрович попытался что-то молвить о преждевременности этого, но все уже кричали, визжали и пили, а я целовал ее холодные от волнения губы.

Потом было все, как надо…

Много пили, много пели и танцевали до пота. После каждого тоста Елизавета Сергеевна интеллигентно утирала сухие глаза и бдительно следила за младшей, чтобы не пила.

— Не смей, не смей, — шипит она.

Шурик догадался таскать кагор для Ниночки в прихожую и обменивать на поцелуи.

Не в духе был один Ленька. (Как он умудрился пролить соус себе на костюм?) Не танцевал, произносил злые тосты и много пил.

Яков Михайлович, довольный всем, сидел в гостиной с красивым пожилым брюнетом, кажется, родственником, и курил.

Облепленный девчонками, Шурик буквально не закрывал рта. Людмиле он не понравился.

— Ты в него влюбишься еще. Обожди.

— Не смеши.

Словно почувствовав, что говорят о нем, Шурик подмигнул нам и громко объявил:

— Вальс невесты! Выбирает она! Захочет — танцует одна!..

— Хочу танцевать с Шуриком!

Люся показывает мне язык.

— Вальс! Иван Петрович, где вальс?!

— Даю!..

Лейтенант забарабанил по клавишам и не в тональности запел:

— «После тревог спит городок…»

Песню подхватили, подправили. Я тоже пою. Мне хорошо. Уже по-настоящему хорошо. Шурик красиво танцует, черт! И

Людмила… Леньку, вот, жалко…

— Леня, выпьем?

Мы выпили. Выходим на лестницу. Ленька — курить. Я — просто от хорошего настроения.

— Как? — спросил Ленька.

— Что, «как»?

— Как, вообще?

— Вот чудак. Хорошо.

— Не жалеешь?

— О чем?..

И тут я услышал голос. Очень знакомый голос. И принадлежал он давнему прошлому. Кто-то поднимался там, внизу, по лестнице.

— Козел проклятый! Гнида зеленая! Ишь, на этажи забрался! Не дом, а каланча… Чтоб она рухнула… Головастик…

Цепляясь обеими руками за перила, хрипло дыша, совсем старая, седая, приближалась ко мне мамина родная сестра. Тетя Клава.

— Чего наглость свою повыпучил?! Тетку не узнаешь?! Паразит паршивый! Перед смертью порадовать не пожелал, сын сучий…

Тетя повисает на мне. Мокрым, беззубым ртом облизывает подбородок.

— Как же вы так, тетя? Маму тогда обидели. Столько лет ни слуху, ни Духу…

— У одних — жисть в мудрости, а у других — в дурости. Чего ж топтать лежачего-то?.. Ноги мои так и не зажили, чтоб они отвалились, палки болючие… А Тоньку простила я — не виновата мать твоя. Ты не лыбься! Проживи с мое, потом и лыбься. Я ить тоже смолоду лыбилась. Мне заходить, али как? Я в угле тихонько притулюсь. Не опозорю. Не бось…

— Ладно, тетя… Чего там… Заходите.

Единственный родственник со стороны жениха возбудил повышенное внимание. Тетя этого не заметила. Или опыт старости помог ей преодолеть смущение. Она сама выбрала кресло к углу и, поджав губы, уселась. От шампанского, что поднесла ей Людмила, отказалась.

— А если водочки? — неуверенно предложил Яков Михайлович.

— Водочку пьем, — пропела тетя.

Взяла обеими руками стопку. Пошарила по столу глазами.

— Нет грибков-то?

Кругом зааплодировали, как на концерте. Я трезвел. Трезвеющая голова хотела спрятаться в плечи. (Сейчас тетя

выпьет вторую, начнет петь. И тогда…) Но она не допила и первой. Затрясла головой, положила в рот рыжик и затихла.

Паузу заполняет Шурик.

— Если позволят… Мы тут насочиняли малость:

Я лопнуть с зависти готов.
Что я — не Виктор, не Костров!
И мне, друзья, осталось только
Рыдать от горя горько… Горько!!!

— Горько!!! — заорала квартира. В четыре руки барабанят на пианино туш Иван Петрович и Ленька.

— Почему не бьем посуду?! — вопрошает он Елизавету Сергеевну. — На свадьбе моей бабушки били «на счастье» хрусталь. У вас же есть хрусталь?!

Хмельная сестренка Ниночка пляшет под Петра Лещенко: «Моя Марусенька, моя ты куколка!»

— On! On! On! On! — разжигает ее Шурик, ползая вприсядку.

Людмила лохматит мне волосы, шепчет.

— Посмотри, какая у Ниночки грудь. Ну, посмотри…

— Будет кто-нибудь чай? — пытается выяснить хозяйка, но ее не слышат.

Запрыгивают в прихожую девчонки. Подправят прически, пошепчутся

и в комнату…

Дзынь!!! Разлетается ртутью старинный бокал.

— Это традиция, мамочка! Мы все традиционный. «Привычка свыше нам дана!» Пушкину ура-а-а!!!

Ленька закружил мою тещу, целуя ее в губы.

Яков Михайлович, довольный всем, все курил с красивым брюнетом, а единственная родственница со стороны жениха мирно почивала в кресле красного дерева.

Отпустили нас на рассвете. Елизавета Сергеевна снова утирала сухие глаза, а тесть, отведя меня в сторону, говорил:

— Виктор Александрович, я надеюсь… Вы понимаете… Мы же мужчины. Это бывает однажды… Она девушка и… Я надеюсь…

Я не смотрю ему в глаза. Бормочу нечто бессвязное, пожимаю ему локти. Он благодарит меня (за что, так я и не понял) и отходит к гостям.

Провожать нас вышли Римма и Шурик. И только до Аничкова моста. Так договорились.

Праздничный город спал. В Екатерининском сквере покидались снежками. Потом на руках пронесли невесту. Долго

прощались на мосту. Шурик залез на клодтовского коня и произнес речь.

— Я тоже хочу его потрогать. Помоги, Виктор!

Подсаживаю Людмилу.

— Это тебе, — шепчет Риммка.

Сунула мне в карман мятый конверт и заскакала на одной ноге.

— Ой, замерзли ножки!

— От кого это?

— От Томки… Ой, замерзли! Ой, замерзли! Ой, замерзли ножки!..

Горит оранжевый абажур. Мы одни. Она и я.

— Чаю бы, Витя, а?

— Да-да. Я сделаю.

Ухожу на кухню. Ставлю на примус чайник. Разрываю конверт.

«Что же ты, Костров?

Так спешил, что и посоветоваться со мной не захотел? Телефон мой потерял разве? Я думала, ты совсем другой, а ты обыкновенный. Желаю тебе счастья тоже обыкновенного. Будешь переезжать к жене, спроси, почему они в своей квартире не живут. А телефон мой найди. Пригодится.

Брагина».

ЛИСТ ДЕСЯТЫЙ

Дней за десять перед Новым годом нас созвали в актовый зал. Дежурный офицер доложил, что все в сборе, кроме одного отсутствующего по болезни и еще одного, отпущенного в город в связи с болезнью отца.

— Садитесь, — сказал начальник школы, — и выслушайте внимательно.

Зал скрипнул стульями и затих.

— Вам поручается первое оперативное задание. Весь личный состав школы направляется на охрану проезда правительственного поезда. В этом поезде из Москвы на родину проследует товарищ Сталин. — (Сердце обхватил холодный клубок и стало сухо во рту.) — Весь маршрут подлежит тщательной проверке и контролю. Два курсанта на один километр. Организовать круглосуточное дежурство. Проверить всех живущих в непосредственной близости у полотна. Лиц без постоянной прописки задерживать. В часы прохода поезда быть всем на путях. Оружие держать в боевой готовности. При появлении посторонних на линии в минуты прохода состава стрелять без предупреждения. Вам будет выдана одежда работников транспорта, оружие, деньги. Постарайтесь узнать поближе людей, живущих и работающих на вашем километре. Обо всем сомнительном немедленно докладывать командованию. Связь по железнодорожному селектору. Питание и ночлег организуйте сами. Отъезд завтра в ночь. Вопросы есть?

Вопросов не было.

Ночь. Вагон. Не уснуть никак… На седой насыпи черные столбы. Бегут вагоны. Один, другой… Тык-тык, дак-дак, тык-тык, дак-дак… Вдруг столбы побелели, качнулись. Насыпь вздрогнула, и по рельсам дальше покатились колеса… Одни… Без вагонов… Тык-тык, дак-дак, тык-тык, дак-дак…

Вот черт! Как же уснуть?

Наш километр под Тулой. Фомин дежурит ночью, я — днем. Спим прямо на полу в будке путевого обходчика Олега Васильевича. Место здесь тихое, нежилое. У невысокой насыпи редкий кустарник. Чуть поодаль — молодые елки. Летом тут, направо и налево, до самых этих елок, болото, а сейчас ходи, сколько хочешь. Но мы не ходим — бережем снежную целину. Правда, одно существо, живущее на километре, не пожелало выполнить введенное правило. Глубокие ямки следов оставлял ежедневно заяц-беляк, большой и толстозадый. По свидетельству

Олега Васильевича, заяц был в преклонных годах и жил здесь давно. На нас он не обращал внимания, и мы часами могли наблюдать, как неуклюже скачет он по глубокому снегу вдоль насыпи метров сто, потом замирает вдруг, превращаясь в заснеженную болотную кочку. Это значило, что сейчас пройдет поезд.

И точно. Громыхали вагоны. Потом наступала тишина, и кочка скакала вновь, обнюхивая каждый метр пути.

— Тут круглый год ему харч, — разъяснял обходчик. — С окон всякая всячина летит. Привык.

Олег Васильевич был рад нашему вторжению в его одиночество. Поговорить он любил, и слушать его было интересно. Жизнь свою он провел в парикмахерской пограничного селения.

Юноши с пухом на подбородке как-то быстро, на его глазах, превращались в мужчин с жесткой щетиной, а затем, так же быстро, в неподвижных клиентов, к которым надо было ехать на дом и брить их последний раз в присутствии голосящих родных.

Однажды Олег Васильевич заметил, что и сам постарел, и, не найдя другого выхода из создавшегося положения, женился на молодой дочери местного банщика. Через год жена умерла в родильном доме, оставив ему двух дочерей. Дождавшись дня, когда девочки принесли аттестаты об окончании семилетки, старый цирюльник отправил их в столицу.

— Научитесь наукам, чтобы бабы при родах не кончались.

Таково было напутственное слово родителя.

Послушные дочери поступили на фельдшерские курсы, а Олег Васильевич попрощался с границей и уехал доживать на триста сорок седьмой километр.

Привез он сюда иранский ковер, серебряный кофейник и неистощимое количество восточных легенд, сказок и историй. Днем он рассказывал их мне, а ночью — Шурику.

Прошла неделя.

Нового ничего. По-прежнему держался мороз, по-прежнему нарушал «запретную зону» нахалюга-заяц, и не торопясь досказывал очередную страшную легенду наш хозяин.

Но вот наступила ночь, которую помню до мельчайших подробностей.

Ровно в двенадцать, как и обычно, сменил меня Шурик. Похвалив жареную картошку с луком, предложенную Олегом Васильевичем, я повалился на полушубок и сразу заснул.

Разбудил меня холод. Вскочил, начисто не соображая, что происходит. Дверь настежь. Шурка, злобно матерясь, возится с нею… Бросаюсь к нему, но меня тут же валит с ног страшный

ветер.

— Оттуда пихай! Оттуда! — орет Шурка.

Не подняться никак. Коченеет лицо, руки. В кальсонах, босой топчется тут же Олег Васильевича.

Неожиданно дверь сама пожелала закрыться. Она сшибает Шурку, разбивает мне в кровь руку.

— Скоро поезд, — сообщает Фомин. — Контрольная дрезина проскочила…

Глотнул водки, начал бинтовать мне руку.

— Идти с вами? — спрашивает обходчик.

— Не надо. Останьтесь здесь.

Первым выползает Шурка. Руками отыскиваем рельсы. Держась друг за друга, двинулись по полотну. Шурка орет мне в ухо:

— Сейчас платформа пройдет! Потом поезд!

Он двинулся вперед. Я остаюсь. Включил фонарик, чтобы хоть что-нибудь видеть. В кругу света стоят мои валенки, рядом блестит рельс. Прошел шагов тридцать. Смотрю на часы. Пять минут второго. Стою спиной к ветру. Вслушиваюсь. Но что разберешь в этом гуле?

И тут я увидел свою тень. Она стояла рядом. Черная тень на ярко-белой метели. Кидаюсь в сторону и проваливаюсь в снег. Мимо летит сверкающий шар. Успеваю рассмотреть платформы, загруженные балластом, и тепловоз. Все уносится в темноту, а в голову ввинчивается пронзительный вой сирены…

Выползаю на пути. Снял перчатку, засунул руку в боковой карман полушубка. Пистолет теплый-теплый. Прошагал немного. Оборачиваюсь. Еще шагаю. Опять оборачиваюсь. Стало жарко и весело. Я начал про себя даже напевать что-то.

Прошли секунды, прежде чем понял, что только что слышал «кых», слышал! Я не мог этого придумать. И я знаю, что это… Так на морозе звучит выстрел. И это там, в той стороне, где Шурик.

Я побежал. Бежать помогает ветер. Под снегом шпалы. Забываю о них и потому беспрестанно спотыкаюсь. Неожиданно со всего маху налетаю на Шурика.

— Грохнул пацана! Вот… мать! В темноте разве разберешь?! На полотно лез, дурак… С корзинкой…

Он толкает меня с насыпи. Светит под ноги. Вижу запорошенный снегом затылок и зеленый фланелевый шарф… А через мгновение ударило светом, и я увидел мальчишку целиком. Увидел подшитые валенки. Увидел корзину-самоделку… Рассыпанный уголь…

И лицо Шурика.

Он глядел на поезд.

Три длинных вагона с опущенными шторами шли курьерской скоростью в сторону Кавказских гор…

К утру все успокоилось. Мы помогли Олегу Васильевичу откопать будку и под жареную картошку с луком выпили «по последней».

— Заяц не вышел сегодня, — сказал обходчик. — Нору, наверное, завалило наглухо.

В полдень нас забрала дрезина.

У наших ног мальчишка. На стыках рельс дрезина вздрагивает, голова тоже, будто кричит кому-то: «Нет! Нет! Нет!…»

По дороге в Ленинград между мной и Фоминым состоялся такой разговор:

— Я понял так, Витька, что пацана тебе жаль?

— Правильно понял.

— А если бы это был не пацан? И не уголь он подбирал бы?.. Тогда что?

Я молчу, не в силах предположить, что было бы, если…

— Приказы, Костров, издаются с уверенностью, что они будут выполняться.

— Да ладно. Что ты завел? Иди в коридор кури… И так в купе дышать нечем.

Мы снова в актовом зале школы. Нас поздравляют с отличным выполнением задания. За проявленную бдительность в сложнейшей обстановке дежурств на триста сорок седьмом километре курсанту Фомину Александру Яковлевичу объявляется благодарность.

В канун Нового года, через сеть своих знакомств, Людмила достает билеты в театр музыкальной комедии.

«Марица». В главных ролях Колесникова, Кедров, Янет. В антракте выпили по стакану вина. Бродим по фойе.

— Давай переедем, милый, а?

Людмила прижимается ко мне.

— Я все равно не живу там. Боюсь примусов. От них, говорят, стареют. Мама ни во что не будет вмешиваться… Переедем, а?

— Кстати, ты ничего о своей квартире не рассказывала.

— В каком смысле?

— Вы же не в своей живете?

— Ах, ты об этом… Это просто была редкая удача и все. А кто тебе сказал? Хотя это не важно. Тут ничего нет такого… Мы жили

рядом, на этой же площадке. А там, где мы сейчас, жила немка. Одинокая. Старуха. Кажется, учительница в прошлом. В блокаду она умерла. Папа нанял людей. Похоронили по-человечески. И потом мы переехали.

— Значит, это все ее? Мебель, ковры…

— Так ведь все равно бы сожгли, растащили. Управхоз даже слова не сказал. Пожалуйста, переезжайте… Ему еще пришлось буханку хлеба дать, чтобы номера поменял.

— Какие номера?

— Фу ты, какой непонятливый. Наш номер был «12», а его перевесили. А «13» перебили на старую квартиру. Понял?

— Выходит, вы живете в квартире номер тринадцать?

Людмила громко рассмеялась.

— Вот смешной! Чего ты испугался? Ты никак в приметы веришь?

Звонок приглашал на последнее действие.

ЛИСТ ОДИННАДЦАТЫЙ

Новогодняя ночь. Дежурю по школе. Поменялся с Колокольцевым. Он оставил потрепанную «Королеву Марго» и счастливый убежал в город.

Пробило двенадцать. Жду еще три минуты и набираю номер.

— Полковник Брагин.

— Простите. Можно попросить Тамару Григорьевну?

— Кто вам дал этот телефон?

— Она.

Трубка замолчала, потом ожила ее голосом.

— Это ты, Витя?

— Я.

— Ты решил меня поздравить?

— Да.

— Спасибо. Я тебя тоже.

— Мне очень плохо, Томка.

— Я знаю.

— Когда можно тебя увидеть?

— Я пришлю тебе открытку.

Трубку повесили.

Все. Больше говорить не с кем, и хорошо. И никто не помешает сегодня. Дежурный офицер выпросил у меня «Марго», уединился наверху в холле и до утра с этой «Марго» не расстанется…

Телефоны, хотя их и три, звонить не будут. Сяду вот сюда…

Начнем. Тем более подменился с Колокольцевым только ради этого…

С чего же начать?..

На могиле матери не был с весны. Точнее — с марта. Подлец.

Женился, неизвестно зачем. Любви тут никакой. Это ясно. Испугался одиночества? Ну, и, конечно, вопли о ее красоте, зависть окружающих — все это было приятно… Ленька даже ни при чем. Я же решил это после случая с Ванечкой…

Опять ложь! Ничего я не решил. Я ни разу в жизни ничего не решал. У меня нет никакой точки зрения… Как же я мог что-то решать?!

Я делал до сих пор только то, что хотели другие… Вначале за меня решала мама. Не стало мамы — решение выносят врачи: быть мне или не быть… А я опять как бы в стороне…

Быть мне на фронте или нет — решило за меня начальство ремесленного училища.

Потом кто-то решил, что лучше всего мне будет в тоннелях

метро.

Другие, тут же, перерешили это и надели погоны.

Людмила решила быть со мной — и стала со мной. Это совпало, кстати, с желанием Леньки.

Шурик убил ни в чем не повинного мальчишку. У меня возникло свое мнение, но из-за боязни потерять единственного друга я отказываюсь от него.

И ничего я не сделал из того, что хотел…

Нет. Сделал. Однажды. Я испугался, что умрет Верочка. И страх этот пересилил страх перед воровством…

Но что это дало? Она все равно умерла. Хорошо еще не при мне.

И что такое — я сам?.. Сын хорошей женщины?

С отцом еще не разобрался. Кто он? Что за человек был отец? Решал ли что-нибудь он или за него решали тоже другие?..

Может быть, за него решала мама?.. А в конце он затеял бунт с сухарями и получил возмездие?

Как же это я теперь узнаю? И возможно ли это узнать?..

Но главное установлено: я — подлец. Своей точки зрения не имею. Друзей у меня нет. Из живых никого не люблю…

Томка…

Ну, это я решу… Прямо сейчас.

Взял лист бумаги и одним махом накатал следующее:

«Извини. Но я не могу ждать твоей открытки, так как принимаю кучу серьезных решений. Сегодня понял, что я — подлец и что должен успеть исправить.

Мне стало все ясно. Неясным осталось только одно — это ты. Сделай все, чтобы срочно встретиться.

Виктор».

Я вышел на улицу и опустил письмо в ящик, висевший на фасаде школы.

Падал мокрый снег. На мостовой чернели люки. В доме напротив видна елка, на ней дрожат шарики и лампочки. Там, наверное, плясали…

Утро Нового года было еще далеко.

ЛИСТ ДВЕНАДЦАТЫЙ

Такого наш коридор еще не видел.

Прервали игры дети. Прижимая к себе мячики и самокаты, они стояли у ног своих родителей, разинув рты. На всех кухнях, забытый всеми, пригорал ужин…

Шла эвакуация.

Бригада мужиков, дыша перегаром, выносит исполинскую кровать.

Елизавета Сергеевна (в каждой руке фарфоровая статуэтка) визжит на весь коридор:

— Я пойду в горком. Голодранец!.. Снимайте абажур!.. Да режьте провод! Что вы там копаетесь?!.. Что ты тянешь?!.. Что ты тянешь, болван?!.. Это же гардинное полотно… Подставьте стул!.. Ягненком прикинулся! Сманил девочку такую, мерзавец!

— Берегитесь, граждане!

Это понесли диван. Буфет, потеряв в дороге ручки и стекла, выставлен на лестницу.

— Все цветочки, цветочки носил… Жених беспортошный! Я теперь тебе покажу ягодки! Комсомолец! Чего топчетесь? Посуду в тот чемодан кладите!

Я принес из кухни табуретку (это была моя табуретка) и сидел посередине уже почти пустой комнаты. Кто-то из жильцов сунул папиросу — я машинально закурил, и горечь дыма казалась сейчас приятной.

Хороший день сегодня. Очень хороший. Я так много сделал сегодня хороших дел…

Утром вызвал дежурный и с таинственной улыбкой протянул мне увольнительную на двое суток. Заметив мое изумление, зашептал:

— От Брагиных звонили… Дочка. Я доложил начальнику школы, и он вот… распорядился…

Сходу поехал на кладбище. На обратном пути позвонил Томке, и через час мы встретились у меня.

Легкая, невесомая стояла она рядом целую вечность… Я трогал губами закрытые глаза и говорил, говорил…

Потом она неожиданно расплакалась и, глядя в сторону, сказала:

— Сомнут тебя, Витенька…

Уходила она задумчивая и тихая. Мы договорились встретиться завтра.

Помчался к Фридманам.

Дома были все. Прямо с порога, без «здрасьте», без

вступлений, сказал им все. Людмила стала белая-белая. И у нее покраснел нос.

— Как это понимать?! — истошно закричала теща. Но меня уже не слушала, так как безостановочно орала, выбегала звонить по телефону кому-то и снова оглушительно орала.

Я удалился.

Вечером началась эвакуация.

— Шпана…

Я очнулся. В дверях стояла тетя Нюра. В руках настольная лампа.

— Чего в темноте-то сидеть? Иль ко мне иди. Спать где будешь? На табуретке? Вот ведь, что натворил без матери… Шпана. Господи, сохрани мою Душу…

Включила и поставила лампу на пол. Это моя лампа. Когда Людмила выкидывала хлам, я отдал ее тете Нюре.

— Иди хоть поешь.

— Не хочу, честное слово, не хочу. Спасибо.

— Ну, господь с тобой, — вздохнула она и прикрыла дверь.

За стеной плачет маленькая Катенька. Значит, спать укладывают. Значит, девять часов. Стучат.

— Войдите.

Втиснулся боком и сразу закрыл за собой дверь мой тезка, старший сын тети Зины из тридцать первого номера. Ему года три, может быть, больше.

— Ну что, Витька? Здравствуй.

Витька мотнул головой и пошел вдоль стен, восхищенно осматривая комнату.

— Можно, я буду ходить сюда играть? У Вас во… как свободно.

Трогает руками лампу. Пошел к окну, подпрыгивая. Уставился на груду книг, наваленных на подоконнике.

— Шел бы ты спать, Витя…

Витька по-взрослому нахмурился, постоял минуту, покусывая губы и, не попрощавшись, вышел.

Под головой книги и вдвое сложенный рукав шинели… (Как в будке у Олега Васильевича. Только там засыпал сразу.) Можно пойти ночевать в школу… Представляю, как удивились бы…

Нет. Голос ее не похож на мамин. Просто тогда показалось. Мама говорила громко и слова подбирала звонкие…

А улыбка похожа.

— Ты улыбайся, улыбайся, Томка! Мне ничего не нужно. Честное слово, ничего. Стой рядышком и улыбайся. Это самое

приятное: смотреть друг на друга… У меня даже твоей фотографии нет. Я бы ее носил и не стыдился никого. Ты — милая, милая… Как родная… Что-то внутри нас ходит… Кружится, кружится. Без веса, без названия… Чувствуешь?.. Нет, ты вслух скажи… Не ресницами… Губами… скажи…

— Да.

— Еще.

— Да.

Шарф скользнул по ее спине. Через плечо ее вижу шарф…

Колючая крупа застревает в зеленой фланели…

Волосы черные, и меж ними шевелится все та же крупа…

Рядом с головой рука. Вторая где-то под телом…

В открытый рот набилась крупа. В дрезине тепло. Крупа тает. Голова вздрагивает, будто живая…

«Сомнут тебя, Витенька…»

«Нет! Нет! — кричу ей прямо в глаза. — Не плачь! Вот же, глупая… Не плачь! Сядь… Дай руки… Дай… Не плачь…»

Снег на могиле теплый. Ровняю ладонями. С креста смахиваю желтые иголки…

Над мамой сосна.

«Пей витамин! Пей витамин!» — мама протягивает ложку… Плачу, но пью невкусную бурую жидкость… (Боже, как это было давно…)

Ровная плита из теплого снега. В глазах щиплет… Расплывается плита. Моргаю часто, но все равно вижу плохо…

— Ма-ма, — шепчу с закрытыми глазами.

— Мам-ма…

ЛИСТ ТРИНАДЦАТЫЙ

Рано утром меня разбудил стук в дверь. Выглядываю в коридор.

— Здорово, Костров! — (Это Лапшин со второго курса.) — Приехал за тобой. К начальнику школы… Срочно!

В незакрытую дверь вставляю записку, чтоб обождала…

У парадной дежурный «ЗИМ».

— Твои утром представились в полном составе, — сообщает Лапшин, разворачивая машину.

Я вспомнил синие от злобы губы Елизаветы Сергеевны и рассмеялся вслух.

По большому кабинету, шевеля на столе бумажки, прогуливается спокойный сквознячок: форточки всех трех окон открыты настежь. В углах, рыцарями, стоят тяжелые бронзовые канделябры. На камине бюст Дзержинского. Рядом часы. Два черных гнома поддерживают земной шар с циферблатом…

Очень синие и очень молодые глаза. Ему лет пятьдесят с небольшим. Седой вьющийся волос. Красивый зимний загар.

Улыбнулся. Откинулся в кресле и неожиданно просто спросил:

— Ты с ней спал?

— Нет.

— Но жене и… ее матери ты сказал иное?

— Сказал.

— Зачем?

— Сейчас… Сейчас я объясню…

У меня ничто не восставало против его вопроса. Он хотел откровенности, и мне хотелось того же. Я верил этому человеку.

— Не хватало чего-то… Может быть, ума, может быть, чувств разобраться в этом сразу. Много было «за». Много влияло веских причин. Они были сильнее меня. А понял это сейчас. И потом. Если абсолютно честно… К ним появилось что-то похожее на месть: к ней и ее матери. Отец — хороший человек, мне жаль его, и стыдно перед ним. Но вот они… Странная штука: сам виноват во всем, а заглушить в себе это мстительное не смог… Вот Вы верите во что-то, и это «что-то» оказывается совсем, совсем не тем… Ну, и слова вырвались сами. А когда крикнул, то не пожалел об этом. Даже повторил: «Да! Да! Я спал с Тамарой! Час назад!! На нашей кровати спал, слышишь?!» %

Замолчал.

Стало безразлично все и тоскливо. И было все равно, что

скажет этот, чужой мне, в сущности, человек.

— Завтра комсомольское бюро, — донеслось издалека, словно из другой комнаты. — Жена — комсомолка, ее заявление будет разбирать комсомол. Увольнения в город не будет вплоть до решения райкома.

— Что же тут решать?

— Вопросы морали входят в компетенцию комсомола. Тем более в этих стенах…

— Но здесь же все ясно! Я сам обнаружил ошибку, сам исправил. Что же решать еще? Любое другое решение будет не совпадать с моим. Будет несправедливым… И зачем это ей?! Это же унизительно… Я не понимаю.

Полковник встал. Я тоже.

— Советую на бюро не упоминать имя Брагиной — это только повредит тебе.

Из членов бюро единственный Сергей Горбунов был мне достаточно близок. Наши приятельские отношения не портились от того, что на занятиях по самбо победа присуждалась чаще ему, а в спорах о литературе я раскладывал его на лопатки под аплодисменты школьных книголюбов.

В тот же день в библиотеке Сергей подошел ко мне и грустно улыбнулся:

— Обвиняемый Костров! Вы вызываетесь на допрос завтра к пятнадцати ноль-ноль.

— Мне что-нибудь грозит?

Член бюро пожал плечами.

— Но твое мнение?

— Зачем?

— Его что, так и не узнает никто? Даже я?

— Почему же… Ты совета у меня не спросил, выбирая ее. Так ведь? Ты напрасно улыбаешься…

Я рассмеялся.

— Предлагаешь вопросы любви решать голосованием?

— Нет. Я о совете. Ты спросил мое мнение тогда? Нет? Чего же ты хочешь сейчас?

— Ты же не спрашиваешь о своей Валентине меня?

— Не нуждаюсь.

— Почему же ты думаешь, что нуждался я?

— Исходя из факта. Ты ошибся, потому что нуждался в совете, но пренебрег им. Вот и все.

— А у тебя что, есть гарантия?

— Конечно. Осторожное сердце. Ос-то-рож-но-е!

Впервые внимательно всматриваюсь в его лицо.

— Любовь и осторожность несовместимы.

— Ну, ну, ну… — махнул рукой Горбунов. — Осторожность совместима с любым чувством и любой мыслью. Это естественная защита от многих ошибок.

— Сегодня прожил осторожно, завтра осторожно… А послезавтра трусом проснешься.

— Да ну, что за чушь. Проснусь осторожным. Это намного приятней, чем не проснуться вообще.

— Этого еще никто не знает, — огрызнулся я.

— И все-таки проснись осторожным. Пригодится на бюро.

Он ушел. Я тут же забыл об этом дурацком разговоре. Действительно, чего я от него хотел? Проверить, прав я или нет? Но я же знал сразу, что разговор не получится…

Погружаюсь в книгу… Все уходит. И прошлое, и сиюминутное. Нет уже ничего, кроме замерзшего князя Мышкина, стоящего у подъезда дома Епанчиных.

Бюро начало свою работу с того, что посадило меня и Людмилу друг против друга за узкий красный стол.

Только здесь, сейчас возникло во мне признание ее красоты. Триумф мести преобразил лицо — оно горело ликованием, жило своей сутью и потому было прекрасным, как прекрасна всякая стихия.

Это был смерч. Гигантская спираль силы, которая через какие-то минуты подхватит оказавшихся рядом людей, закружит их, спутает мысли, перемешает события, понятия и, натешившись вволю, выплюнет этот хаос из своей страшной воронки.

(Берегитесь мести женщины! Но, увы, тогда вам не увидеть истинной красоты женского лица!)

Секретарь зачитывает заявление. Каждая строчка — правда. Проставлены даты, цифры, фамилии. Все по-деловому. Никаких эмоций. Я слышу голос Елизаветы Сергеевны, вижу ее рот, который умеет говорить, почти не разжимая губ…

> «…В связи с изложенным, я требую рассмотрения этого беспрецедентного поступка, несовместимого с высокой моралью организации, созданной Лениным.
>
> *Людмила Фридман.*
>
> *3 января 1947 года».*

— У меня вопрос к Кострову: вы согласны с фактами, изложенными в заявлении вашей жены?

— Да.

— В таком случае бюро вправе услышать ваше объяснение.

Передо мной на столе ее руки перетягивают между пальцами серебряную цепочку сумочки. Легкий, едва заметный лак ногтей…

— Ну, что же, Костров, будем молчать?

Обручальное кольцо… (Мое в кармане. Запрещено было тогда носить их.) Длинные нежные пальцы… «Такими играют на арфах или совершают дворцовые перевороты», — вспомнил я Ленькину фразу… Что бы сказал он сейчас?

Всплыло из памяти утро, когда мы собирались в загс. Елизавета Сергеевна внесла в комнату маленькую икону. За спиной ее растерянно улыбался Яков Михайлович, показывая нам руками: «Уважьте, мол, мать, встаньте на колени, бог с ней…» Мы переглянулись с Людмилой, послушно опустились на ковер и поцеловали теплую доску.

— Это неуважение к составу бюро.

— Что вы хотите от меня? — спрашиваю я, продолжая глядеть на ее руки. — Что я должен говорить? Какие вы ждете от меня слова? Я принял решение, и никто не может ничего изменить. Меня можно было судить за ошибку. Она мной исправлена. Что теперь?

— У вас все, Костров?

Я пожал плечами.

— Ну, что же, товарищи, все ясно. Кто хочет высказаться?

Поднялся Виталий Уваров. (Крепыш. Спортсмен. Бывший моряк. Его сестру расстреляли под Новгородом немцы. Играет на аккордеоне, неплохо поет матросские песни. Руководит самодеятельностью.)

— Узнал я про все это и так плево на душе стало. Что надо человеку? Государство все дало. На всем, можно сказать, готовом. Жена любит. Она же прямо пишет в заявлении — «любила». Родители тоже с душой. Свадьбу справили. Столько денег вбухали… Иван Петрович рассказывал ребятам. До сих пор вспоминает — он же был, видал. Обстановку справили. Чего еще? И вот на тебе — «ошибка»! Откуда она взялась — «ошибка»?.. Думал я вчера над этим вопросом, думал и вот нашел ответ… Вот…

Уваров не торопясь расстегивает карман гимнастерки и вынимает мою читательскую карточку из библиотеки школы. Я узнал ее сразу.

— Вот, — повторяет Уваров. — Прочтем внимательно. Взял Маяковского «Избранное». Как вы знаете, том увесистый. Вернул на другой день и получил Достоевского, том первый. Читает его… Два, три… пять дней! Поменял на Герцена. Полистал день. И берет том второй Достоевского. Читает шесть дней! Шесть! —

повторяет Уваров со странной интонацией. (Благодаря этой интонации начинаю понимать его мысль.)

— …Берет третий том и сидит над ним восемь дней! Восемь дней с одним томом! А взяв У пита, в тот же день вернул. Листает Чехова для отдыха один день и снова берет Достоевского. Том четвертый! Держит его до… до шестнадцатого декабря! Одиннадцать дней! И это, обращаю внимание, совпадает с предсвадебным и послесвадебным периодом. И с вызовом на оперативное задание… Под Новый год берет пятый том! И не сдал его до сегодняшнего дня!

(Сложил карточку, кладет в карман, застегивает пуговицу.)

— …Первое: предлагаю просить командование ограничить выдачу упаднической и разлагающей литературы. Второе: проверить все карточки и провести беседы с подобными «читателями». А то ведь что? Днем им «Основы ленинизма» дают, а вечера они с Достоевским проводят… Что же получается?

Уваров вопросительно оглядывает присутствующих и останавливается на Людмиле.

— Разложение, Людочка. Типичное разложение.

Людмила закрыла глаза и кивнула головой в знак полного согласия.

— Комсомолец, который ни одного вечера не посидел над советской книгой… Что же у него осталось? Один билет? Пусть он этот билет и сдаст!

Уваров сел.

— Разрешите мне?

— Да, да, Людмила, говорите.

Ровная волна ресниц. Я видел не раз, как ловко делала она эту волну при помощи спички и щеточки.

— Мы — мужественны. Мы — ленинградцы, и нам переживать не впервые… Мама лежит. У нее приступ. Папа расстроен, а я… — Шарит в сумочке. Находит платок и держит его наготове. Слез еще нет. Но они будут — я это знаю. Сейчас она скажет фразу, потом покраснеет нос, и глаза заполнятся влагой. Вот сейчас…

— Я не плачу. Я уже не могу… У меня…

К ней кидается Горбунов со стаканом воды и Уваров. Вода выпивается. Слезы в платке. Людмила снова перебирает цепочку, а взявший слово Волошин гневно выкрикивает:

— Отношением к женщине! Вот чем измеряется человек. От измены женщине до измены Родине не так уж далеко, как думают иные! Главное в любви — постоянство! Нельзя день любить одну, а на другой день любить другую. Это любовь мотыльков! Мы — люди и вправе требовать людской любви. Он не достоин вас,

Люся. Нам стыдно перед вами за него. Но наш стыд — это сила нашей моральной чистоты! К сожалению, мы не увидели сегодня стыда только у одного человека… Его самого будто нет. Ошибаетесь, Костров. Мы вас хорошо видим и хорошо понимаем вас!

Волошин поддерживает предложение Уварова об исключении. Выступил еще один, и еще, и еще… Говорилось все то же и кончалось так же: исключить.

Последним взял слово Горбунов.

— Достоевского я тоже читаю. Уваров перегибает. Можно держать книгу полмесяца. И что? Это не доказательство, что я ее штудирую. И вообще мы не о том… Семья распалась. Было целое. Сейчас один слева, другой справа. Можно это исправить? Я, лично, не вижу возможностей, да и смысла в этом…

— А что же делать теперь мне? — вставляет Людмила с трагической дрожью в голосе.

— Это вы спросите у него… Он же самый умный и тонкий. Вы же его выбрали из всех мужчин мира. Эрудит. Предпочитает Федора Михайловича… А он в этих вопросах дока.

— О-о, какая ты сволочь! — вырвались и обожгли голову слова. Спружинило невесомое тело. Я уже стоял, не видя ничего, кроме красной полосы стола. — Что ты знаешь про Федора Михайловича?! Что он вам всем сделал? Вы готовы вырыть его из могилы и разобрать на бюро!!! Что вам от него надо?! Что вы прицепились к нему?! Что?! Что?! Что?! — ору я в туманные желтые лица.

Выбежал на лестницу. Здесь прохладно. Через входные двери проникает сюда, в вестибюль, холод улиц.

По лестнице спускается Фомин.

— Ну, что там? П-порядок?

— Дай закурить.

Давлюсь дымом. Захмелело все внутри, стало свободным, не связанным. Громко смеюсь, спрашиваю:

— А почему бы тебе не жениться на Люське? Ты ведь ей понравился… А, Шурик?!

В холле вывешено красочное объявление. Издали его можно принять за афишу эстрадного театра.

«Общее собрание. Разбор персонального дела. Лекционный зал. Явка к 16–00. Бюро комсомола».

Я отстранен от занятий. Сижу весь день в библиотеке. Появляюсь лишь в столовой. У всех озабоченные лица, все куда-то спешат, бегут мимо. В лучшем случае кивок головы, чуть заметный. Рискуют пожимать руку Фомин, Колокольцев, Иван

Петрович и еще двое из нашей группы. Водопроводчик (должен ему уже двенадцать рублей!) угощает старыми анекдотами и «Беломором», предрекает фиаско. Шурик грозится поехать в Управление и поговорить «с кем надо». Томка не звонит. Я тоже.

Являюсь на собрание бледный, как покойник, и с головной болью, видимо, от выкуренных папирос: ночью, конечно, не спал.

Прохожу по центральному проходу к сцене и сажусь в первом ряду с краю. Оглядываю переполненный зал. Много преподавателей, офицеров и штатских; девчонки-официантки из столовой, библиотекарь, начальник курса майор Власов, несколько незнакомых в штатском, видимо, из райкома. Зачитывают длинное, похожее на приговор, решение бюро.

Одна деталь меня удивила. Из семи членов бюро, голосовавших за исключение, — один воздержался — Горбунов.

Первым берет слово лучший в школе стрелок из пистолета — Свиридов. Всю войну солдатом. Дошел до Берлина. Неоднократно ранен. Вид, правда, никудышный. Ростом мал. Гимнастерка вечно мятая, погоны торчком. Сутулый. Лицо неопределенное.

— Комсомольцы пусть простят меня, что первым вышел. У меня партбилет в кармане четвертый год. Под Сталинградом заработал его. Под минами его получил, и дорог он мне, как жизнь. Вроде бы книжечка… Чего стоит? Дешевле блокнота, фотография да печать, да номер… А дорога! Не отдам никому, ни за что. У мертвого только отнимете… А ты?! — крикнул Свиридов, и глаза наши встретились. — Ты положишь свою без всякого… у тебя она наравне с записной книжкой, где телефоны бабьи записаны! Взносы заплатил, штампик поставил и гуляй гоголем… А все оттого, что книжки эти кучами раздают. Охват! Охват! Распространяют, как заем. Люди через каторгу шли к билету, через виселицу! Не копейками — кровью взносы платили… Не штампики, а шрамы ставились… — Одернул гимнастерку и закончил весомо. — Билет отнять. Выгнать из школы к чертовой матери.

Сошел со сцены при полной тишине зала. Было слышно, как звенят медали. Но вот и они затихли там, за моей спиной. Значит, сел Свиридов.

— Прошу слова!

По проходу шел Шурик.

— Прими мой поклон, товарищ Свиридов. Хорошо сказал. Правильно сказал. Только к п-персональному делу не лезет… В огороде бузина — в Киеве дядька.

В зале зашумели. Из шума вырвалась реплика:

— Свадебный пирог отрабатываешь?

Фомин рассмеялся подкупающе весело и аппетитно

причмокнул.

— За такой пирог не наставишь жене рогов!

В зале заржали.

Шурика понесло. Он даже не заикался, что бывало с ним в минуты наивысшего подъема духа.

— А он, представьте себе, сбежал. И от пирогов, и от ковров! От обручального кольца и от красивого лица! А девчонка, прямо скажем, красива!.. Красива?! Я у вас спрашиваю! Вы же — мужики!..

(В зале одобрительно зашумели. Раздались хлопки.)

— И я говорю: красива! Значит, что же следует? Одно из двух: то ли Костров наш дурак круглый, то ли в этих тещиных пирогах и запечена собака… — (Смех в зале). — Первое отпадает, хотя бы потому, что друг у Фомина дураком быть не может… Он, правда, Берлинов не штурмовал и под минами ему билет не вручали… Но жизнь его колбасила немало. Многим из сидящих здесь и во сне такое не приснится… Да и почему право на счастье надо оплачивать обязательно кровью? Например, от меня немцы ни одной капли не получили… Что же мне теперь делать, товарищ Свиридов? Ты, выходит, за счастьем первым в очереди стоишь? А я за тобой?.. Короче: Виктор — парень чистый, и подвела его в этой истории чистота. Оглушила его Людочка… Да, да, не смейтесь!.. Я слышу, что ты сказал, Степанов… Я тебе отвечу на это… Дзержинский тоже любил. Любил горячо. Но, если что, то не пошел бы на компромисс и в любви. Для разрыва нашел бы силы. А причины у Кострова есть. Должны быть. Он здесь. Он о них и скажет. Давай, Виктор!..

Передо мной, внизу, зал.

Многоликий, многоглазый, ожидающий. Дышит, смотрит, ждет единое целое, в котором я — частица, одна пара глаз, одно сердце и одна голова с кипящей болью в висках. Нет ни мысли, ни слов, ни желаний. Нет ничего, кроме мерзкого состояния обнаженности. Только ладони еще прикрывают последнее, не открытое любопытству. Они ждут, чтобы я отвел ладони, чтобы совсем ничего не осталось у меня, кроме боли, которая никому не интересна…

— Вот также он молчал и на бюро, — услышал я голос секретаря.

— У меня очень болит голова…

— Громче! — крикнули из задних рядов.

— У меня болит голова, — повторяю я громко. — Но если бы она не болела… Все равно… Мне нечего сказать вам. Я боюсь вас…

Я шел к своему месту. Вокруг стоял вой. Из последующего,

кроме этого воя, я не помню ничего. Что-то говорил мне на ухо Шурик. Размахивал руками на авансцене Колокольцев. Покачивались очки преподавательницы русского языка Полины Антоновны. Долго стоял на сцене подполковник Божков. Потом поднимали и опускали руки. Потом все вышли из зала. Один Фомин расхаживал теперь по пустой сцене и дымил папиросой.

Поздно вечером в санчасть школы, где я валялся с высокой температурой, явился Шурик, принес лимон, папиросы и письмо.

Короткое послание мы прочли вдвоем.

«Я под домашним арестом. Телефон отключен. Ничего не знаю о твоих делах. Будь смелым. Целую. Т.»

Фомин не удивился ни высокой температуре, ни письму, ни моему состоянию на собрании. Его поразило, что я ничего не знаю о решении. Он хохотал, хлопал меня по животу огромными ладонями и, с трудом справляясь с заиканием, выкрикивал:

— П-порядок, Витька! П-порядок!

Общее собрание школы отвергло решение бюро. Около восьмидесяти процентов проголосовало за строгий выговор. Однако через пять дней выносит решение бюро райкома: «исключить». А еще через семь дней я был вызван на бюро городского комитета.

Из Смольного лечу на крыльях. Горком поддержал решение общего собрания! Значит, все в порядке! Да здравствует правда!

Влетаю в школу. Дежурный офицер не очень внимательно слушает мое радостное сообщение. Не дожидаясь конца рассказа о заседании в Смольном, протянул мне бумагу…

Хлестануло по глазам короткое слово: «приказ»…

ЛИСТ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

Над Невой солнце и звон. Плывут из Ладоги, обкусанные быками мостов, ослепительно-белые глыбы. У спуска галдеж. Мальчишки вылавливают куски хрусталя и тут же бьют их о гранит. Повизгивают девчонки. Смотрят сквозь льдинки на солнце, на Петропавловку.

Обжигает мои ладони, выскальзывает, просится в воду хрустальная палочка.

— Смотри, как здорово.

Томка щурит глаза. Глядит через льдинку на меня.

— Ой, какой ты…

— Да ты на солнце! На солнце гляди!

— Не могу, больно. Я лучше ее съем…

Томка облизывает льдинку. Болтает ногами, свесившись с парапета.

— Ненормальный! Народ же кругом…

Вертит головой, прячет губы, тыркает мне в рот льдинку, хохочет. Вырвалась совсем. Отбежала.

— Пойдем ко мне.

Отрицательно качает головой.

— Я же сегодня уезжаю. Надолго. Пойдем…

— Не-е-ет, — протянула слово. — Ты же сам знаешь, что не надо.

— На минуточку.

— Не-е-ет.

Расчесывает волосы ветер. Горят солнца: одно в небе, другое в Неве, а сотни маленьких в окнах, лужах, в ее сережках, в глазах.

Вот уже три месяца, как я бью баклуши. Я безработный. Много прочел за это время. Читаю подряд все, что начинается со слов: «Приглашаются на работу», «Требуются», «Срочно требуются!»…

Но я не могу быть ни официантом, ни стропальщиком. Какой с меня инженер по котлам или старший бухгалтер? Меня не возьмут экскаваторщиком и не используют в качестве бондаря. Мне никогда не быть наладчиком крутильных станков и радиотехником тоже. Газорезчик — не я. Крановщик — не я, а что такое «тростильщик» — я просто не знаю. Есть вакантное место второго альта в Академическом хоре, есть тысячи вакантных мест, но мне нужно только одно. Мое.

(Ага! Вот!) «Требуется плотник на ледокол "Ермак"».

Заполняю бесчисленные анкеты, сдаю справки, документы. Жду. Ежедневно, в течение десяти дней заглядываю в

«Главсевморпуть».

На одиннадцатый отдел кадров вежливо возвращает документы.

— Что же вы не сказали, что уволены из органов? Выезд за пределы вам запрещен. На буксир не хотите?

Денег нет. Продавать нечего. Разве тут откажешься от жирных щей тети Нюры?

Вспомнил об институте переливания крови. Сдал один раз. Второй. А однажды заявил дежурной по регистратуре, что пришел впервые. Заполнили журнал и, как новенького, направили через все комиссии на сдачу. Теперь на мое имя существовало два журнала донора. Обнаружить это было невозможно. На букву «К» фамилий много, и «встретиться» на полке журналы не могли. С этого дня дела стали улучшаться. Я сдавал кровь четыре раза в месяц, чем приобрел независимость и даже позволял некоторый шик: водил Томку в театр и в «Сад отдыха» на концерты. Источник средств держался в глубочайшей тайне.

По воскресеньям заглядывает Шурик. Молча, не снимая шинели, сидит на подоконнике минут пятнадцать и уходит. Да и о чем говорить? Как дела в школе, мне теперь было знать не положено. Да и не интересовался я этим. А как у меня дела, он сам видел.

В среднем раз в неделю полностью менялась обстановка комнаты. Жильцы приступили к весенним ремонтам, а мебель и вещи перетаскивались ко мне. Я временно становился хозяином то изящных и дорогих вещей Ирины Стацевой — певицы из Малого оперного, то вместительных книжных шкафов и стеллажей супругов-переводчиков из пятнадцатого номера, то комната заполнялась детскими кроватками, из которых торчали глазастые головки, постоянно требующие еды, игрушек и горшков. А когда затеяла ремонт семья Трошиных, комната превратилась в зоопарк: суетились в клетках дрозды и синицы, сквозь стекло огромных банок смотрели немигающие глаза вуалехвосток, по углам шныряли два черных кролика и морская свинка по кличке Бэкон, а по ночам грызла обои старая ежиха, злющая и вечно всем недовольная.

Я жил в прямоугольной коробке, наполненной чужим бытом, знакомясь невольно с людьми через их вещи, учился познавать живое через мертвое. Я втянул в эту игру и Томку.

Один вечер в неделю принадлежал нам. Это была суббота. Только этот вечер отец дарил дочери для личных удовольствий. Если мы не шли на спектакль, то просиживали допоздна у меня, а потом спешили к ближайшему театру и у выходящей публики

просили использованный билет. Для отчета.

Каждую субботу около семи резко распахивалась дверь и прямо с порога летел веселый вопрос:

— Кто мы?

— Мы — пенсионеры, — отвечал я. — В прошлом ты — продавец галантереи, а я — ответственный работник городского транспорта!

Это значило, что у стариков Мальцевых ремонт, а это их вещи.

— Ты помнишь, как мы познакомились? — вступает в игру Томка.

— Конечно. Как же можно это забыть? Я зашел купить галстук.

— А по-моему, ты попросил подтяжки.

— Ты путаешь, дорогая… Когда я вошел в магазин, ты кокетничала с лысым субъектом. Он-то и вертел в руках подтяжки.

— Я была с ним любезна. И только. Этого же требует профессия.

— Однако на меня ты даже не взглянула.

— Я увидела тебя через зеркало.

— Через это?

Показываю на овальное настольное зеркало.

— Ты разве не знал? Иначе зачем бы я хранила его столько лет!

— Я тебе понравился сразу?

— Нет.

— Как «нет»?

— Только после того, как ты повязал галстук. Из всех мужчин ты лучше всех повязал его…

Так все три месяца по субботам мы играли в чужие жизни, говорили чужие слова, пользовались чужими вещами, мечтали за других, ссорились вместо них и даже собирались рожать…

— Кто мы?

— Мы — молодожены.

— Спим на раскладушках?

— Нет. Тебе нельзя. Ты ждешь ребенка.

Томка втискивает под платье подушку. Медленно ходит по комнате. Гладит «живот».

— Вот ножкой топнул. Вот здесь… Вот опять…

Я сажаю ее к столу. Кормлю с ложки. Говорим шепотом, как заговорщики. Долго придумываем имя. Сходимся на Игоре для мальчика и на Светлане для дочери. Много и осторожно гладим «живот». Испортила все моя выходка. У Томки маленькая грудь и

я, тронув ее слегка, сказал, что молоко придется докупать у частника.

Игра прекращена.

До конца вечера молча гуляем по улицам.

Между нами сложились отношения, лишенные всякой страсти, кроме одной: постоянно видеть друг друга. Все, что было в нас, мы вкладывали в нашу традиционную игру в других людей. В нас самих оставалось только ощущение нарастающей тревоги.

Приближался конец. Мы предчувствовали его и боялись. Боялись говорить о своем. Боялись мечтать. Боялись целоваться, когда оставались одни… Нам казалось, что малейшая неосторожность в чем-то, какая-то мелочь: слово, жест разрушит все.

Мы берегли этот полуреальный мир, созданный нами. Каждый из нас разыгрывал роль, боясь стать самим собой.

Как всегда неожиданно пришел апрель, и еще более неожиданно я был вызван в райком комсомола.

— В Москву на курсы поедешь? — спросил парень, весь простроченный застежками «молния». — Не хватает единицы. Ты же фотодело знаешь? Знаешь. Кинокамеры изучал? Изучал. Давай на курсы. Нечего баклуши бить.

Выезжать нужно было в тот же день, но я взял билет на субботу.

— Мы, что?.. Так и не поговорим ни о чем?

Томка бросает льдинку в воду.

— Замуж… я выходить не могу.

— Почему?

Она долго молчит.

— Но почему? Почему? Говори! — кидаю слова, защищаясь. — Ну, что ты молчишь?

Это был конец. В ее молчании. В ее бледном лице. В ее глазах, в которых погасло солнце…

— Он тебя убьет. Ты просто исчезнешь… И следов никто не найдет. Ты его не знаешь. Он все может. Мужа он мне будет выбирать сам…

— Но это же бред! Бред! Бред!!!

Я с силой сжимаю и трясу ее руки.

— Это бред алкоголика! Он пугает тебя!

— Не-е-ет, — снова протянула она слово. — В этом ему надо верить…

Черный после дождя перрон. Маленькое мертвое личико. Холодными руками, словно слепая, ощупывает мое лицо. (Надо молчать. Молчать! Иначе взвоем. Взвоем жутко на весь вокзал…)

Она не отходила от окна половину ночи. Опершись руками о пыльное оконное стекло, она безостановочно рыдала. Беззвучно. Без слез.

Я выбегал в коридор, тамбур, снова возвращался в купе, но повсюду, за каждым окном видел вздрагивающие плечи и искаженное болью лицо.

Оно исчезло лишь после короткой остановки в Бологое, где я успел в вокзальном буфете выпить стакан теплой водки. Теперь за окном была только ночь.

ЛИСТ ПЯТНАДЦАТЫЙ

Первая покупка в Москве — толстый блокнот.
На первой странице в верхнем углу вывожу надпись:

«Допустим, познаю я все… А что я потом буду делать?»

Посредине крупно, размашисто:

«Москва. Высшие курсы режиссеров-документалистов. 1947 год».

В самом низу маленькими буковками:

«Только для своих мыслей».

«Черт возьми! Никогда не ожидал, что на свете так много умных людей! Это, видимо, оттого, что до этого жил среди дураков».

«"Учиться! Учиться и учиться!". Согласен. А если учитель кретин?»

«Хочу снять фильм о ковыльной степи. На экране степь, ковыль, солнце, ветер. За экраном "Болеро" Равеля».

«Опьянение бывает отрезвляющее».

«Все виды тяжких преступлений можно искоренить только одним: ввести смертную казнь для родителей правонарушителя».

«Сегодня на лекции задал вопрос: „Почему не существует документального фильма о любви?". — „А кому он нужен?" — ответил преподаватель».

«Между "А" и "Б" в алфавите пропущена какая-то буква».

«Город счастливых людей. Боже, какая должна там быть скука!»

«Водку продавать надо только на кладбище».

«Какое мне дело до будущего, если нет настоящего?»

«Он подошел к ней в метро.

— Разрешите с Вами познакомиться?

— Как Вам не стыдно?! За кого Вы меня принимаете?!

Через месяц они поженились».

«Она меня сводит с ума!

— Ничего удивительного. Женщины это делают для обеспечения равенства».

«Я верю в то, что окончательно понял».

«Люблю взрослость в детях и детскость во взрослых».

«Жалуется шестнадцатилетняя девушка, с которой вчера познакомился:

— Вот я говорю, говорю слова. Потом замолкаю, думая, что выразила свою мысль. Но оказывается, что слова я сказала, а мысль — нет.

— И давно это у тебя?

— Второй день».

«Самые прекрасные песни те, что поются про себя, не вслух».

«Любовь — это чудо. Иных чудес не существует».

«Есть у меня три желания (на тот случай, если появится волшебница):

1. Чтобы воскресла мама. 2. Чтобы прожить жизнь без подлости. 3. Чтобы по вечерам не болела так голова».

«Судьба (т. е. предопределение, запрограммированная биография) — понятие бессмысленное. Ни Богу, ни другой разумной категории совершенно неинтересно заниматься созданием заводных игрушек. Ни одна мать, если бы она обладала такой возможностью, не решилась бы составить программу жизни (судьбу) для своего ребенка. (Где-то я встречал выражение: "счастливые — не имеют судеб".)

Представить, что автор судеб — Дьявол, — это значило бы отнять у него его изощренный ум. Каким же надо быть идиотом, чтобы, расставив западни и ямы на пути человека, наблюдать за ним, зная при этом конец. Где же тут наслаждение? Честное слово, мы недооцениваем Дьявола. Короче: если есть Судьба, то миром правит Бессмыслица».

«В последнем письме Томка спросила:

— Что же такое у нас было?

Я ответил ей:

— Сон».

«Интересно, изменилось бы что-нибудь в мире, если женщины бы стали умными, а мужчины красивыми?»

«Христос был продан за тридцать сребреников. Интересно, за какую сумму это сделали бы сейчас?»

«В темноте ищем света, а на свету прячемся в тень».

«Пошла мода на анализы. Только и слышишь каждый день на лекциях: „Анализируйте! Подвергайте анализу/“ Да заткнитесь Вы, наконец, со своим анализом! Жизнь ведь — не моча!»

«Сентябрь. Седьмое число. Утверждена курсовая работа „Степь ковыльная сценарий черно-белого фильма метражом в двадцать минут. Двадцать минут будет жить на экране моя мечта! Ура! Ура! Ура! Оператором едет Лев Быстряков».

Чкаловская область.

На самом краю степи деревушка в тридцать изб с названием Сани. По рассказам старушек действительно — сто лет назад делали здесь из осин большущие грузовые сани. От бывшей осиновой рощи осталось три гнилых уродца, а от бывшего «производства» — прокопченные насквозь бани. В банях этих парили осиновые брусья. Пареная осина, мягкая, податливая — гни из нее хошь круг, хошь восьмерку.

Сейчас деревенька бедная. Более половины изб заколочено. В оставшихся ютятся медлительные, словоохотливые старухи и пяток дедов, полуслепых и нелюдимых.

Две коровы бренчат по утрам и вечерам медью своих колокольчиков.

У одной из коровьих хозяек мы с Левой и остановились.

От деревни на юг, до самого края света расстелен ласковый ковер ковыля. Ковер удивительно ровен и чист, словно тысячи бульдозеров и катков долгие годы горизонталили эту землю. Да где там человеку сотворить такую парадную площадь Красоты! Неподвижное серо-голубое небо и земля золотисто-пепельная, нервно дышащая, как мех гигантского животного. Вот затопорщился недовольно, вот лег волной на волну успокоенный. Вот замер, ожидая… Нет, это чудо не похоже на море! Здесь нет зловещей синевы глубин, спрятанного злого умысла, нет страха, нет смерти… Здесь все перед тобой открыто, все у твоих ног и над твоей головой. Прошмыгнул суслик (ведь чуть не попал под ноги, дурак), и опять никого, если не считать самого хозяина — степного орла, на дьявольской высотище ленивым планером облетающего свои владения. А восход! Опять чудо! Тишь такая стоит, что ушам больно. Спит коричневое плато. Все мертво. Но вот произошло что-то… Движения нет, все по-прежнему неподвижно. Это бросил золото в степь первый луч, коснувшись самых высоких нитей ковыля. Золото разбрызгивается по темно-коричневому прямо на глазах там, здесь… Вот еще там! Все больше и больше золота. Коричневая глубина мелеет, растворяется в золоте, переходит в беж, а затем в светло-серый. «Седой ковыль» — так и говорят здесь местные. Это значит — осень…

На закате же степь розовеет, румянится пятнами…

Краснота растет, разливается, как вино. Местами становится лиловым и даже фиолетовым, но ненадолго. У горизонта почернело, проваливается все в преисподню. Все ближе черное, все ближе, все быстрее… и все. Ни смотреть, ни снимать нечего. Мгла.

Дождя ждали пять дней. Утро пятого дня встретили на крыше

деревянной часовенки, сколоченной из той же осины. Накануне мы были в гостях у единственного человека в деревне, знающего, что такое кино. Постучав по деревянной ноге, дед Захар авторитетно изрек:

— Граната японская ное — знать, полье завтра. В утро полье…

Сидим на крыше. Материм деда Захара и японскую гранату, которая дала неверную метеосводку. Солнце до боли жарит уже облупившиеся носы. Левка предлагает искупаться. Кинокамеру оставляем на крыше. Кувыркаемся в мутной воде пруда, заросшего осокой. Не прошло получаса. Под резким и довольно прохладным ветром зазвенела осока. Стихло. И опять рывком налетел холодный воздух. Сморщилась в пруду вода. Запылило вокруг. Закачалось. Сплевывая на ходу пыль, мчимся к часовне. На крыше такой ветрило, что дранка шевелится. Прячемся на чердак. Выглядываем.

Степь колотится, как эпилептик. Тучи желтой пыли несутся прямо на нас. Неба не видно и степи, в общем, тоже. Снимать нечего. Но вот по дранке замолотили тяжелые капли. Ветер сразу стих. Как волшебный, мгновенно исчез желтый занавес. Его заменило бутылочное стекло дождя. Там, где полчаса назад был расстелен золотистый ковер, пузырилась черная грязь…

И кто поверит, что на другой день, к обеду, прежнее чудо было снова расстелено от наших ног до края земли. Снова горело золото, снова суетились под ногами суслики и, как обычно, в недосягаемой высоте несла свой дозор серая птица…

Фильм хвалили и даже запустили в прокат. Художественный руководитель курсов А. Кольцатый — тогдашний бог документального кино — сказал на просмотре:

— Ну, «наковыляли» вы, молодые люди, «наковыляли»! Спасибо.

Новогодние каникулы. Курсы распущены на семь дней. Утром буду в Ленинграде!

От вокзала до дома иду с удовольствием. За восемь месяцев на Невском никаких перемен. Как и в апреле, в витрине обувного магазина стоят купоросовые босоножки, в «Электротоварах» — те же утюги. Сменилась лишь реклама кинотеатров, да в окне магазина «Сыр» выставлена елочка, обвешанная дольками плавленного сыра.

Холодной пустотой встречает меня комната. В открытую форточку налетел снег. Книги на подоконнике скрючились и почернели. Выцвели за лето обои, обвисли в углах кривыми

мешками.

Надо шевелиться, двигаться, иначе из сырых углов потечет ко мне знакомая тоска…

(Пойду, попрошу у тети Нюры щепоточку чаю.)

Стучу негромко в дверь. Подождал и еще раз стучу. Погромче. Слышу, как скрипнула кровать.

— Кого надо?

— Это я, тетя Нюра! Чая не дадите? Я с вокзала прямо. Холодно…

Лязгнула задвижка. Высунулось завернутое в лоскутное одеяло незнакомое лицо.

— Скончалась Нюра. Летом еще скончалась. Я — сестрица ее. Двоюродная. На похороны как приехала, так и живу… А вы тутошний? Из жильцов?

— Из жильцов, — отвечаю я механически.

Мы смотрим друг на друга, и между нами продолжается бессловесный разговор.

Дрогнул подбородок у нее, и мой дрогнул тоже.

Она отвела глаза, и я отвел.

Скрылась в комнате, долго копошится, шуршит бумагой. Появилась снова. Протягивает в газете пястку чаю.

— Нате… Пейте на здоровье…

У нее опять дрогнул подбородок, и дверь закрылась.

Из средней кухни доносятся вопли. Третий год по утрам эта часть коридора просыпается от Витькиного крика. Никак не приучить Витьку к холодной воде.

Увидев меня, тетя Зина улыбается.

— Ишь, какой стал! Столичный. Жены не привез? Прекрати орать!!

Она шлепает моего тезку по голому заду.

— Прекрати орать!..

Но Витька уже не орет. Он улыбается мне. Я ему тоже.

В школе, где Томка училась в десятом классе, я узнал следующее: в последнее время Брагина приходила с синяками и кровоподтеками. Весело, с подробностями она рассказывала о красавце доге, которого ей подарили. Дог молодой, очень ее любит, но силы не равны, и резвые игры часто кончаются плачевно.

Однажды она не явилась совсем. На другой день стало известно, что Брагина в больнице. Подружек, пришедших навестить больную, в палату не пустили, объяснив, что страшного ничего нет, необходимы лишь покой и сон.

Накупив яблок и конфет, еду в больницу.

В пропуске категорически отказали. На все мои эмоции

главврач отвечал одной фразой:

— У нас режим, и я не имею права его нарушать.

Молодая санитарка хирургического отделения имела о режиме иное мнение. За десять рублей она вынесла мне халат и шепотом проинструктировала:

— В случае чего, скажите, что вы из медицинского журнала. Репортер вроде… Сообразите?

Томка спала. Я разложил на тумбочке кульки и пакеты, присел осторожно на край кровати и стал ждать.

В палате кто-то громко закашлял. У нее дрогнули ресницы, и тут я тихо позвал ее:

— Тома…

Она открыла глаза и совершенно спокойно стала смотреть на меня.

— Я приехал сегодня… Я не писал тебе, потому что ты перестала писать. Я на семь дней только. У меня каникулы.

Взгляд ее оставался спокойным, будто не было восьми месяцев, будто не было ничего вообще, будто действительно я был репортером из медицинского журнала.

Я стал рассказывать о фильме, о степи, о Москве, но она по-прежнему смотрела безучастно и молчала.

Растерянно оглядев спящую палату, ища какое-то объяснение всему этому, я замолчал на полуслове.

— Мне не надо было приходить, да?

Она закрыла глаза и отвернулась к стенке.

— Ну, что? Молчит? — спросила санитарка, принимая халат. — Не ест ничего: вот беда. И ни единого слова. Ушибы не болят. Спит хорошо. Надо его было давно застрелить.

— Кого?

— Да пса. И чего она его жалеет? Дурочка какая-то… Хорошо еще — не бешеный.

— Отец ходит?

— Справляется. Каждый раз предупреждает, чтоб не пускали никого. Даже жену запретил пускать.

Топить нечем. Хорошо — тетя Зина дала охапку дров, а то бы замерз до утра. Наколол помельче прямо у печки. Разжигаю испорченными книгами.

Печь радостно запела, осветив оранжевым потолок и морозный узор окна.

Сижу на табуретке. Смотрю в огонь.

Какое множество людей вокруг. За стенами и внизу, подо мной и наверху. Ходят, спят, танцуют. Готовят ужин и уроки. Играют на рояле. И никто не знает, что умерла тетя Нюра. Не

знают, что молчит в больнице Томка. У них свои покойники, свое молчание. И свои печи и дрова. У каждого своя коробка, свое окно и на стеклах свои пальмы и елочки…

У каждого — свое.

Достал блокнот. Читаю последнюю запись:

«Счастье — это ощущение перспективы».

Вписываю новую:

«Если у каждого свое, что же может стать общим? Наверное, общая перспектива?»

Отложил блокнот. Взял одну из книг, подлежавших сожжению. «Справочник культработника. Москва, 1937 год».

Не могу вспомнить, откуда у меня эта книга. Открыл наугад.

«Раздел 4-й. Массовые игры. „Путаница“ — веселая игра, пользующаяся популярностью в домах отдыха. Правила игры не сложны. Затейник выбирает одного из активных отдыхающих, желательно девушку, и дает ей два конверта, в которых…»

Шумно хлопнула дверь. Оборачиваюсь. В двух шагах от меня Томкин отец.

Первое, что я ощутил в себе, было сопротивление. Это оно не позволило мне подняться с табуретки. Его же состояние понять было невозможно. Был ли пьян или трезв, зол или весел — ничего нельзя было прочесть в немигающих глазах Брагина. Лицо бледное с синевой, обросшее седой щетиной.

— Встань, — сказал он чуть слышно, как и тогда, на открытии школы.

Я не шевельнулся.

— Встань, — повторяет он с той же интонацией.

Я физически начинаю ощущать, как по телу растекается спасительное равнодушие. Освободились мышцы рук. Пальцы вновь чувствуют книгу, которую я продолжаю держать. Равнодушие делало меня свободным. Я мог теперь спокойно вспоминать, далеко ли лежит топор…

Когда я брал с полу «Справочник», он лежал, кажется, справа от меня, у печки… Мне хочется скосить глаза и проверить, так ли это…

— Она тебе все сказала?

И по тому, как он это спросил, я понял все сразу и отчетливо. Избивал он. И заставлял молчать. Собаку застрелил для отвода глаз…

Кидаю книгу в печь и вижу топор. Он в метре от меня…

(Если ударит, надо падать прямо к нему!)

Гляжу в белые от злобы глаза и ласково, как больному, говорю:

— Ударить не дам. Не за что. И потом, Григорий Евдокимович, у меня такое состояние, что, извините, могу разрубить на куски, если что…

Брагин с силой проводит по лицу себе жилистыми пальцами. Издал какой-то сиплый звук.

— Водки у тебя нет?

— Нет.

— Принеси.

Я поднялся, взял в углу пустую бутылку и вышел из комнаты.

В нашем доме помещался буфет, где торговали водкой в розлив. Пили здесь под горячие сосиски и бутерброды с килькой.

Мне отмерили триста грамм и завернули два бутерброда. Вернувшись, я застал его сидящим у печки. Водку поставил к ногам. Тут же на полу сел.

Засаленная фуражка — сталинка. Звездочка потеряна. От нее только светлый след. Шинель в пятнах, без погон.

— Тобой я занимаюсь давно-о-о… — он протянул последнее слово.

(Вот откуда это у Томки…)

— Знаю, что наган прячешь… То, что стрелялся, никто не знает, а я — знаю. Про липовый журнал, по которому кровь сдаешь — знаю. И что на курсах языком болтаешь — известно. Все знаю… Не отдам ее!!! — заорал он страшным голосом. — Сгною в тюряге, как падаль!! — Взял бутылку. Зачем-то посмотрел ее на просвет и выпил одним духом.

— Томку из головы выкинь. Никаких писем, ни звонков. Попробуешь жаловаться — раздавлю, как вошь… Это тебе не с жидовочками баловаться…

Плюнул на пол, сунул бутерброды в карман и, словно нехотя, пошел к дверям.

ЛИСТ ШЕСТНАДЦАТЫЙ

«Сдыхал от жажды скорпион…
К нему сюда, в жару пустыни,
Тропы никто не завернул.
Песком засыпан след звериный,
Засох последний саксаул…

Одна мечта: напиться всласть!
Припасть к горячему фонтану
соленой крови
и во власть
красивых снов

уйти…
Вот и мираж — предвестник близкой смерти, —
…толпа людей и запах пота, пьянящий, как вино!..

— НЕТ!
— Уж лучше смерть, чем бред!..

Ударил скорпион
своим мечом себя
чуть ниже головы…

А мы
стояли рядом и пили воду из мехов.
Гудели трактора.

Вдруг Лена крикнула:

— Смотрите! Сам себя… Как жаль… А я хотела живого привезти в Москву и показать знакомым…»

Этими строчками начиналась моя дипломная работа.

Фильм должен был рассказать о людях, добывающих нефть в пустыне. По замыслу, текст этот, местами рифмованный, пишет в своей тетради молодой рабочий. Отсюда родилось и название фильма: «Тетрадь, пахнущая нефтью».

Экспедиция готовилась на апрель, в район Ташкентских песков, где предполагался пуск первого фонтана.

Лев Быстряков из-за сердца поехать со мной не мог. Окончательно группа сформировалась только в марте.

Оператор — Василий Тумчин, ассистент его — Лена Воронина, администратор — Олег Столяров и я — автор сценария и режиссер фильма.

В Ташкенте мы задержались на два дня — получали пленку на студии. Обалдевшие от жары и сытной еды, бродим по базарам. Купаемся в тепловато-мыльной воде Комсомольского озера и там же, на островке, пьем холодное пиво, под зажаренный в соли миндаль.

Трактора-вездеходы вышли в ночь, чтобы, пользуясь прохладой, проскочить основную часть пути.

Утром быстро поднимающееся солнце мгновенно накалило металл кабины. Двигатель поддавал жару изнутри. Кругом слепящий блеск неподвижных песков. Песчаная пудра забивалась в уши, разъедала глаза и растрескавшиеся губы. От постоянного грохота голова деревенела.

У Лены второй обморок. У меня хлещет из носа кровь. Остальные держатся.

Двигаемся по компасу — трассы, как таковой, нет, и если бы по нам не пальнули из ружей, мы бы проскочили промысел.

Лену и меня положили в санчасть. К съемкам приступили только через неделю.

На промысле работало около ста человек. В основном молодежь из разных республик. Среди них мы сразу нашли героя фильма. Точнее, нашла его Лена.

Пока единственная женщина во всей пустыне лежала в санчасти, она ежедневно получала кучу записок и писем.

Мало, кто выдержал бы такой ураган чувств, мыслей и слов. Но Лена выдержала. Она любила во всем мире только кинематограф.

Среди писем было одно, написанное стихами. Судя по стилю и подписи, автор — грузин.

Это письмо и решило наш выбор. Бригадир монтажников — Вахтанг Махатошвили вошел в фильм, как есть: чумазый от пота и масла, загорелый, как головешка, в немыслимых шортах, сшитых матерью из старых полотняных брюк, с открытой улыбкой и привычкой постоянно пожимать плечами.

Мы полюбили его сразу и начали готовить, как готовят невесту к обряду венчания.

Пуск нефти через четыре дня. Это и будет финалом фильма. Что ж! С конца начиналось многое!

Выбрали место для киносъемки. Учли возможные варианты,

возникающие обычно при документальных съемках.

В идеале финал должен выглядеть так:…к вентилю подходят трое рабочих. Среди них наш герой. Он три раза плюет через левое плечо по русскому обычаю и поворачивает колесо вентиля. За взглядом героя камера панорамирует вверх, где уже бьет в небо черный фонтан…

На все это лягут финальные строчки стихов и последние аккорды музыкальной партитуры.

Наступил день и час пуска нефти.

Вахтанг явился в белой майке, и нам пришлось в сотый раз ему объяснять, что это не костюмированный бал, что это обычная работа и чтобы он все делал так, как будто никаких съемок не происходит.

Наконец, все готово. Все на местах. Толпа затихла. Главный инженер кивает мне головой.

— Мотор!!! — кричу я во все горло.

На площадку, как на капитанский мостик, поднялись трое. Черное колесо вентиля поблескивает маслом. Ребята остановились около него, переглянулись весело, и герой плюнул три раза. (Хорошо плюнул! Молодец!) Все шло отлично. Вот голый, по пояс, герой нагнулся, цепкие руки схватили раскаленный на солнце круг и… вентиль не поддался…

Мгновенно покрылось потом лицо, надулись мышцы. Еще усилие… Но пальцы скользнули, и все опять повторилось.

Напряжение кадра возрастало. Это было неожиданностью, но это было хорошо, черт возьми!

И тут, стоящий рядом парень слегка прикоснулся плечом к герою. Тот отодвинулся, уступая ему место.

Парень вытер ладони о штаны и с красивой яростью рывком нажал на вентиль…

— Ура-а-а!!!

Фонтан бесился в высоте, черной тушью закрывая от нас солнце.

— Стоп! — ору я оператору и бегу вместе со всеми подставлять ладони под черные жирные струи…

С первой оказией Лена повезла пленку в Ташкент.

При прощании Вахтанг подарил ей тетрадь стихов и крошечный флакончик с нефтью. Лена чмокнула героя в ухо, чем окончательно превратила его в ненормального. Теперь он ночи напролет шелестел бумагой, а днем заводил странные разговоры…

— Как думаешь, Витя, богиня нефти есть?

— Нет.

— Надо выдумать! Какое имя подойдет — говори!

— Нефтелена?

Он почему-то обиделся и больше ко мне не обращался.

Через три дня мне принесли текст радиограммы:

«Срочно прибыть Ташкент материалом непонятное Лена».

Лена встретила меня на киностудии в коридоре монтажного цеха.

— Витька, только ты не волнуйся… Пропала пленка.

— Как «пропала»?

— Из цеха обработки пленка в ОТК не поступала.

— Что за чушь?

— Я звонила в цех. Начальника нет, а зам говорит, что пленку взяли на химическую экспертизу.

— Ну и прекрасно!

— Не совсем… Галка — знакомая девочка, она на практике здесь — утверждает, что никакой экспертизы по этому материалу у них не проходило.

— И что? Путает твоя Галочка что-нибудь. Вот и все. Сейчас выясним…

Однако выяснить в этот день не удалось ничего. Единственное, что я узнал — материал в порядке. Брака нет. Это подтвердили рабочие на проявке и девочки на копировке. Дальше след терялся. Никто толком не знал, где пленка. Был конец дня и начальство как ветром сдуло.

Я накормил Лену мороженым. Забросил ее и свой портфель в гостиницу и пошел бродить по городу.

Вечером докладываю Лене.

— На площади у театра выпил стакан сухого, в чайхане старого города выпил стакан сухого, у мечети в палатке выпил стакан сухого и сейчас во втором этаже, в буфете…

— Больше не получишь. Буду пить одна.

— Я открою балкон.

— Он открыт.

— А почему у вас душно, Елена Аркадьевна?

— Прошу, не называй меня по отчеству. Я сразу чувствую себя старой.

— Ты молода, Елена… И пленительна. Я знал лишь одну женщину, а разочарован во всех… Я! Я запишу это! Я сейчас принесу блокнот…

— Потом, потом. Знаешь, сколько времени? Так поздно из номера женщины выходить неприлично. Тем более в таком виде…

— Я пьян?

— Трезвый ты ко мне бы не ввалился.

— Мне очень хорошо сегодня. И я хочу, чтобы тебе было так же.

— Это трудно.

— Ловлю на слове! Ты не сказала — «невозможно»! «Пей, моя девочка, пей, моя славная!»

— Тише! Ты что? Обалдел?! Нас же выселят. Это же гостиница, все-таки…

— За песни?! Е-рун-да! «Это плохое вино-о-о!»… Елена, я тебя поцелую! Нет, я тебя не как женщину — я поцелую тебя, как Человека!

(Если бы не купальник…) Я почувствовал его под халатом и тотчас вспомнил купание в Комсомольском озере, загорелую здоровую кожу и белую, недоступную солнцу, полоску на груди.

— Пусть будет все, Лена… Пусть будет сегодня все…

— Пусть…

Потом пьем чай с халвой. Потом я вышел на улицу и сорвал на клумбе розу. Потом стояли на балконе и сочиняли стихи:

Конверт раскроешь — из него звезда,
Как чудо, упадет к тебе в ладони…

Потом плескались под душем, потом я расчесывал ее длинные волосы. Потом опять пили сухое вино и болтали веселую чепуху.

А утром я сказал:

— Я тебе почитаю кое-что их своих записей, хочешь?

— Очень.

Гостиница просыпается рано. В коридоре гремят ведрами горничные. Галдят в холле туристы. Звонят телефоны.

У стола дежурной трое мужчин.

— Это к вам, — сказала дежурная, подавая ключ.

— Ко мне? — переспросил я, несколько удивленный ранним гостям.

— Нам нужно переговорить с вами. Желательно, в номере.

— Пожалуйста…

(Видно, из газеты или самодеятельности. Нужно будет долго отвечать на вопросы, а там ждет Лена. Я был недоволен.)

— Садитесь, — буркнул я, когда все трое зашли в номер. — Вы из газеты?

— Мы из Управления госбезопасности.

Один из них протягивает документ. Форму этой книжки я знал хорошо.

Пальцы стали липкие.

— Вот ордер на арест и на обыск.

На стол легли бумаги.

— Я могу сообщить своему товарищу, что…

— Нет.

— И в связи с чем это все… вы мне тоже не объясните?

— Это, Костров, вы знаете не хуже нас. Все вопросы в Управлении.

Пока ехали, я почему-то думал о Витьке из тридцать первого номера.

— Перестань орать! — кричит тетя Зина. — Перестань орать!

Но Витька не орет уже — он улыбается мне…

Стены кабинета разделаны «под ясень». Они приятно холодят, помогают забыть о духоте, которая прет в окно от пыльной зелени парка.

За столом майор. Пишет.

Вошел совершенно лысый подполковник, похожий на комика-простака. Коротко оглядел меня, сел на диван.

— Не без удовольствия посмотрели ваш кинодокумент. Талантливо. На уровне мировых стандартов… Чуждых нам капиталистических стандартов…

Довольный собственным оборотом речи, подполковник улыбнулся.

— Люди на экране наши, советские. Механизмы наши. И на пленке советской снято. Все по форме. Все правильно. А мысль?! Какая мысль, — я спрашиваю?!

В ответ улыбаюсь. Говорю совсем по-дружески, запросто.

— Вам что, делать нечего? Я бы, на вашем месте, взял бы отпуск и махнул на промысел. Там прояснилась бы и форма, и мысль. Честное слово, что дурака валяете? Или кто-нибудь капнул чего? Так говорите…

Они дружно рассмеялись.

— Артист! — с веселой издевкой выкрикнул лысый. Забарабанило сердце, будто наотмашь ударили по лицу.

— Вы что здесь сошли с ума… от безделья?! — срываюсь на крик. — Я напишу об этом в Москву… Кто дал вам право разыгрывать с людьми подобные водевили?!

В хохоте потонула последняя фраза. Как ванька-встанька, качался на диване подполковник, хлопал себя по коленкам,

повизгивал и вытирал выступившие слезы.

Вошел дежурный. Майор закрыл лицо руками.

— Уведите артиста, — приказал он, давясь от смеха.

Номер камеры двадцать два.

Лежу на койке и силюсь понять, в каком смысле мне близка эта цифра… Она выражает что-то мое… Она что-то для меня значит… Двадцать два… Что же она означает?..

ЛИСТ СЕМНАДЦАТЫЙ

Боже, как все просто… Мне же двадцать два года! Двадцать два…

Тюрьма.

Давным-давно, в предалеком детстве, в длинной-предлинной легенде кто-то кого-то бросил в подземелье…

И была картинка. Страшная картинка.

Заплесневелые камни низким сводом нависли над юношей. В углу человеческие кости. Тень от решетки на полу черным крестом. Из расщелин выползли мохнатые пауки и, выпучив белые глаза, ждут…

Не успел я толком научиться читать, как это слово встретило меня в романах. Потом натыкался я на него в поэмах и в хрониках. Оно поджидало меня на страницах учебников, глядело с полотен Эрмитажа, а экскурсия в Петропавловскую крепость познакомила с запахом этого слова…

Тюрьма.

Темницы и каменные мешки, бездонные колодцы и башни замков… Принцессы с бирюзой в глазах, сумасшедшие мудрецы, вожди и рабы, виноватые и без вины, люди с именами вечными и люди без имен, французы и китайцы, люди с крестом на шее и люди без креста. Люди и людская злоба. Двери, громыхающие, как в склепах. Темень. Холод. Решетки. Камень. Камень.

«…То была тьма без темноты,
То была бездна пустоты,
Без протяженья и границ…»

А здесь ничего нет этого.

Ни тебе каменных глыб, ни толщи стен, ни сводов, ни паутины с пауками. Нет даже элементарного мрака. День и ночь горит лампочка в сорок ватт. Откуда тут лунный свет с крестом на полу? Я уже не говорю о крысах… Это просто смешно: требовать крысу в современной тюрьме.

Вокруг все издевательски хохочет над экзотикой книжных тюрем. Все читанное когда-то и виденное на картинках стало детской игрой, где каждый должен напридумать побольше ужасов.

Тюрьмы нет.

Есть стандартный дом. Обыкновенный до обидного. Только

стены поставлены ближе друг к другу, да площадь комнат доведена до санитарной нормы — восемь квадратных метров на одно лицо.

В распоряжении этого лица окно, чуть меньше того окна, в которое оно смотрело из своего дома (конечно, там стояла герань и пейзаж не был разделен на прямоугольники… Но в рыцарских замках тоже были на окнах решетки. Это даже экзотичнее!).

Матрац стандартен. На таких спят во всех общежитиях и больницах. Постельное белье — того же ГОСТа. На полке чайник (за такими и сейчас бывают очереди в сельмагах). В углу совершенно нормальный белоснежный унитазе клеймом завода керамических изделий города Бобруйска. Правда, без крышки.

И дверь как дверь. Петли не скрипят, и прилагательные «кованая», «тяжелая» к ней не приложишь, даже при большом воображении. Несомненно, портит дверь круглая дырка, удачно нареченная — «глазок»…

Смотрю на «глазок». Вспоминаю не очень смешные карикатуры: в замочную скважину коммунальных дверей подглядывает крючковатая старуха. Будто молодые не подглядывают. Будто никто никогда не наблюдал этим способом, как «пытают» школьного товарища: помнит он или не помнит, как называется столица Уругвая?

«Глазок»…

Естественный процесс: от детского любопытства к юношеской наблюдательности, от наблюдательности — к зрелости подглядывания, а от подглядывания — один шаг до шпионажа — самой героической и самой презираемой профессии в мире…

Все бы ничего… Жара. Душно. Лижут кожу раскаленными языками два солнца… Одно из-за решетки, тусклое, белое, пыльное; другое под висками, меленькое, чугунно-тяжелое.

Все покрыто моим потом. Липнет масляная краска стен. Не вижу, но чувствую, как оставляют на полу следы босые ноги.

Прохладен лишь унитаз. Беспрерывно спускаю воду, мочу ладони, прикладываю к плечам, к груди, к шее.

Привязался мотив. Мучает уже неделю:

«…Бывали мы в Италии,
Где воздух голубой…»

В тысячный раз просвистываю его, мычу без слов, отстукиваю пальцами по решетке:

«И там глаза матросские

Туманились тоской»

Началась десятая тюремная ночь. Душная, липкая, бессонная.

Лампа в лицо. Но рядом наслаждение — вентилятор.

— Извини, Костров, что разбудили. Ничего. Днем доспишь.

Пытаюсь говорить спокойно. Кажется, это удается мне.

— Вы не пробовали с арестованными говорить нормально? Дома же вы так не разговариваете?

Майор хмыкнул. Продолжает искать что-то в ящике стола.

— Капризный ты, Костров. Перед тобой извиняются, что разбудили… А ты опять недоволен.

— Я по ночам не сплю. Вы не можете об этом не знать. И извинение звучит насмешкой.

— Так не спишь, потому что боишься…

— Да. Я боюсь. Боюсь, что никто никогда не узнает, какой вы…

Он с силой загоняет ящик в стол.

— Мы разобрались, что такое — Костров! Это сейчас важнее…

Снова хмыкнул и презрительно добавил:

— Пистолет запрятать получше и то не мог:…ровый из тебя контрик.

Обыск в Ленинграде я предвидел. Наган не был спрятан, он валялся на

полу под грудой книг. Я бы решился сам сказать о нем, если бы с самого начала была хоть малейшая логическая связь между моей жизнью и арестом.

— Это отцов, — лгу я совершенно сознательно и, как выясняется тут же, совершаю этим ошибку.

— Откуда он у отца появился? Когда?

— Ну, этого я не знаю.

— Умер он в январе сорок второго, так?

— Да. Третьего января.

— Наган был при нем?

— Он умер от голода… При чем тут? А наган я нашел позже, уже после… Когда умерла мама.

— Где нашел?

Болван! Я же сам себя загнал в угол. Где, где я мог его найти? Если я нашел его не в своей комнате, тогда при чем тут отец? Сказать правду?.. Но он же теперь не поверит ни про буфет, ни про мужика в зеленом ватнике…

Пауза затягивалась как петля.

— Горобец приходил к отцу? Иван Петрович Горобец… Ты видел его?

— Никто не приходил… Даже не слышал про такого.

— Ты вспомни, вспомни получше… Высокий такой. Рост… — Майор заглянул в бумаги. — Рост — сто восемьдесят два. Дядька заметный. Я тебе и фото его покажу.

Выдвинул ящик стола, достал офицерскую книжку, раскрыл, подставил под свет лампы.

Каллиграфическим почерком крупно, черной тушью: «Горобец Иван Петрович». Фотография. Глаза мужчины смотрят прямо в мои глаза…

(Это он! Он! Я узнал его мгновенно.)

— Дезертировал из-под Пулкова двенадцатого декабря сорок первого. Труп обнаружен в вашем доме на четвертом этаже, в комнате номер пять. Наган его. Вот регистрационный номер… — Листает удостоверение. — Этот же номер на нагане, найденном у тебя… А?

Майор улыбается, не скрывая удовольствия.

— А? Что же выходит? То ли папочка пристукнул Горобца, забрав оружие… То ли приобрел его у него. Зачем? А?

Я рассмеялся. Да, да — рассмеялся, довольный и счастливый. Все сейчас кончится, и меня отпустят. Ну, не сейчас — утром, но отпустят. Не надо было лгать про отца. Надо было сказать правду, только правду и все. Боже, как все просто…

— Простите меня, майор. Все было не так…

И я рассказал все, как было. В конце рассказа я даже показал ему шрамы у соска и плеча.

— Вот сюда она вошла… А вынимали отсюда…

— Почему не сдал его потом?

— Патроны я выбросил. А он валялся… Так… Как напоминание о собственной слабости.

— Незаконное хранение оружия. Пятерка.

— Знаю.

— А при наличии мыслей о смене правительства — не меньше десятки.

Приблизил лицо к вентилятору. Жмурюсь. Через глаза проникает бодрящая свежесть.

— Оружие было… Мыслей не было.

— А дневничок?

— Вы имеете в виду — блокнот? И что?..

— Ну, как «что»… Ленин призывает учиться, а ты что?

Сейчас я лишу себя вентилятора… Сейчас я буду возвращен в липкую вонючую раковину, где буду всю ночь задыхаться. Я кричу ему в глаза, что встречал в жизни подобных ему кретинов в роли

учителей… Но кричу не вслух. Мне хочется еще подышать, хочется, чтобы шевелились у висков волосы. Я продолжаю жалеть себя…

Говорю крайне вежливо:

— Вы же грамотный человек, майор… В записи есть слово «согласен». Оно главное. То есть, я согласен с Лениным.

— Но дальше у тебя вопрос: «А если учитель кретин?» Не так ли?

— Совершенно верно.

— Так, кто этот «учитель»? Это же лицо конкретное?

— Конкретное, конкретное. Для каждого оно свое, но конкретное. Для одного «учителем» может стать отец, для другого — товарищ или школьный учитель. Это не понятно разве?

— Подожди, подожди, Костров… Не уводи в сторону. Здесь слово «учитель» имеет под собой имя соб-ствен-но-е! Ты только хитро зашифровал его… написал с маленькой буквы.

Наступила длинная пауза. Вентилятор. Ради него я был готов слушать любую чушь.

— При чем тут маленькая буква?

— Не «при чем», а «при нем», — промолвил майор тоном заговорщика.

Взгляд его покидает меня и уходит в сторону. Поворачиваю голову. На

стене портрет. (Вот черт! Ничего не поделаешь… Придется расстаться с вентилятором.) Говорю тихо, растягиваю слова и глотаю в последний раз звенящую ласковую струю.

— Объясняю вам, майор, еще раз… И если это пойдет вам на пользу, повторю с удовольствием и в третий… Для кого-то вы — отец, для кого-то вы старший товарищ. Кто-то вас считает для себя учителем с большой буквы. Верит каждому вашему слову, следует вашему совету, перенимает ваши взгляды, поступки… — Пью взахлеб воздух, почти пьянея при этом. — И в этом несчастье не сможет помочь им никто. Даже Ленин… Повторить?

Повторил это я уже в камере.

С вечерним чаем приносят заказанные накануне бумагу (два листа), чернильницу-непроливашку, перо.

Протираюсь водой весь. Пою последний раз: «Бывали мы в Италии…»

Вывожу осторожно, буква за буквой:

«МОСКВА. КРЕМЛЬ. ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ.

Дорогой товарищ Сталин! Я, Костров Виктор Александрович, двадцати двух лет, уроженец г. Ленинграда, выпускник режиссерских Курсов документального кино, более месяца нахожусь под следствием во Внутренней тюрьме Ташкента.

Мне предъявлено обвинение в том, что я, используя средства кино, выразил на экране мысль о якобы неспособности Вашей как Вождя стоять у штурвала нашей страны. Что у Колеса Истории должен стоять русский человек, что только ему по плечу великая миссия.

Мне не известны истинные причины этого чудовищного обвинения.

Я знаю только, я клянусь Вам в этом, что ничего подобного не было ни в моем сердце, ни в моей голове при работе над фильмом.

Отснятый материал свидетельствует о предельной документальности эпизода ("Пуск нефти").

Бредовые ассоциации, возникшие у работников следствия, не могут являться криминалом, так как, повторяю, снимался эпизод не отрежиссированный, и любая возникшая ситуация может быть отнесена только к категории случая.

В процессе следствия мне отказано в вызове свидетелей, которые могли бы подтвердить абсолютную документальность события, запечатленного на пленке. Не принят ни один мой протест. Допросы ведутся в унизительной для подследственного форме. Крайнее отчаяние привело меня к решению обратиться к Вам.

С Вашим именем связана, по существу, вся моя жизнь. В школе я пел песни, посвященные Вам. С искренней радостью я рассказывал близким, что видал Вас на параде. Я стоял на охране Вашего проезда на Родину.

Я всегда с чувством уважения относился и к Вашему имени, и к Вашим делам. Да и почему вдруг, ни с того ни с сего, у меня возникли бы сомнения?

Все, что было в моей жизни нескладного, горестного — было от несовершенства моего и несовершенства ряда людей, непосредственно со мною соприкасавшихся. Но даже в порыве отчаяния (что бывает у каждого!) я никогда не сомневался в величии Родины, в красоте и мудрости Народа и его Вождя.

У меня есть святое имя — имя моей матери, которая передала мне свою преданность этим идеалам. Предавая их, я бы предал свою мать.

Я верю, что вся эта история окажется недоразумением. Я верю!

Костров В. А.

17 июля 1948 года».

Текст приведен дословно. Я неоднократно повторял его про себя и не раз пересказывал вслух, а позже, в лагерях, я пользовался им, когда просили помочь написать Сталину другие заключенные, так как текст, в своей заключительной части, удивительно совпадал с мыслями и чувствами этих разных людей.

Шли письма в Москву. Шли тысячами.
Но Москва молчала. Сталин молчал.

ЛИСТ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

Вот сижу я сейчас вместе с Виктором в камере ташкентской тюрьмы и думаю за него, и за себя (ведь я — это уже не он, а он — еще не я); думаю: не оставить ли мне его здесь в восьмиметровой духоте? Зачем я затеял эту возню?

Что это я, право, привязался к нему? Подумаешь, Спартак! Гарибальди! Юлиус Фучик!

Кому все это надо?!

Ведь от того, что был написан «Фауст», человечество не стало мудрее…

Не стал человек добрее и от прочтения многотомной «Человеческой комедии»… Это ли не комедия!

И что-то не прибавилось красоты у него от «Ромео и Джульетты»…

Прочитываем великие трагедии и творим новые, смеемся над комедией и продолжаем ломать ее в жизни, заучиваем афоризмы мудрецов и упрямо не желаем применять их, разве только, чтобы щегольнуть эрудицией.

А что останется от прочтения этих листов? Что?..

Вместе с прохладой ночей стали приходить ко мне сны… Легкие, хрупкие, похожие на балеты… Хороводы девчат на Дворцовом мосту… Уличные фонари изогнулись, спружинили от натянутых струн, превратились в высоченные чугунные арфы… Поет в струнах ветерок, поют девушки. Кидают цветные бумажки. Бумажки летают, кружатся над мостом и над площадью, плывут по Неве… На бумажках слово… Не прочесть никак. Оно короткое, несколько букв, но никак… Одна девчонка крикнула его, но ветер отнес слово — не расслышать…

Вот уже и другая кричит… Еще одна… Кричат все хором, показывают руками что-то… Но звон струн заглушает крики. А тут еще продавцы-лотошники суют вкуснятину всякую… Румяная лошадка с глазом-изюминкой… Баранки большущие, как спасательные круги… Кто-то схватил, увлек в хоровод…

По ступеням вниз, к воде, и снова к площади, в самую гущу веселья, где с гранитной высоты своей сбрасывает цветные бумажки веселый ангел. Он тоже кричит это слово, вместе со всеми, но…

ЛИСТ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

— По хулиганке? Кому-нибудь рожу почистил? Сколько дали?

— Десять.

— Контрик?

Я улыбаюсь грустно, киваю головой.

— Ясно. Анекдот ляпнул?

Мой новый знакомый — Мирошниченко (фамилию он сообщил сразу, как только нас втолкнули в машину) — скручивает цигарку из собранных тут окурков, глотает дым.

— Болтун — находка для шпиона. Курнешь? Как хошь… А я из-за этой суки десятку схватил…

Вынул мятое фото, сует мне.

В ванне стоит женщина. Поставив ногу на край, вытирает ее полотенцем. Глядит на меня чуть испуганно.

— Зинаида Богдановна Полянская! Не женщина — двигатель!..

Машину тряхнуло. Спутник матюгается, сплевывает под ноги, поясняет:

— За город выехали. Скоро пересылочка — отберем посылочку, а потом — этапчик — сосновый шкафчик из семи досок, на ногах номерок…

Рассматриваю его с любопытством, стараюсь угадать, кто он. Руки работяги, лицо интеллигента. Слова не его (это очень заметно) и плевок не его, — это все так, для бодрости. Его мучает что-то, но он стыдится меня и потому неумело играет.

— А что вы совершили? За что вас? — спрашиваю я, заранее прощая ему любое. Не убил же он, наконец, эту Полянскую…

— Я виноват, — отвечает он с каким-то облегчением. — Мне еще мало дали. Награды учли, ранения… Хирург по танковой требухе. Инженер. По ранению демобилизовали, а документы, по ошибке, в два наркомата отослали. В Наркомат обороны и в Наркомат танковой промышленности. Ну, мне там и там пенсия и пошла… Я, само собой, помалкиваю. Бегаю по комиссионкам, меха ищу, изумруды… К ее глазам изумруды очень идут. Четыре года так вот и бегал… Любил в общем. Она женщина солнечная. Ее тепла на сотню мужиков хватило бы. А я один. Из ревности весы сконструировал под матрацем. Один лежит — ничего. Второй ложится — щелк! Пружина на контакт давит — лампочка на крыше загорается… Сейчас смешно. А тогда, как установил, такой страх вошел… Стою на улице, квартала за два — ноги дрожат. Билет на поезд в кармане… Это она мне купила по моей

просьбе. Так что я для нее в отъезде числюсь…

— Оставьте курнуть, — перебиваю я.

— Как сейчас помню… В двадцать один час тридцать шесть минут загорелась родная… Сработала, значит, система. Не бросай…

Отнял у меня окурок и, обжигая губы, затянулся.

— На пересылке ларек. Табаку навалом.

— Что же дальше было?

— Да ничего интересного дальше не было. Переночевал у дружка. Днем заявился. Ее нет. Все в мешок затолкал. Ничего не оставил… И в комиссионку. Через неделю забрали. Про две пенсии только она знала, она и сообщила… После суда на свиданку дружок пришел, так рассказывает: лампочка до сих пор горит по ночам. Даже днем… бывает… загорается. Мне-то днем некогда было… Все по магазинам бегал…

ЛИСТ ДВАДЦАТЫЙ

Пересыльный лагерь под Ташкентом. В «пересылке» двенадцать тысяч, и все двенадцать ждут дня отправки, ждут этапа.

В этом барачном городке, окруженном «колючкой», пулеметами и собаками, среди мелких карманников и убийц; среди бывших власовцев и мародеров; среди мошенников и колхозника, который посягнул на пять килограммов артельной капусты; среди гомосексуалистов и профессора, которого черт дернул за язык рассказать в кругу друзей анекдот «про трубку»; среди дезертиров войны и многоженцев; среди бывших полицаев со Смоленщины и перепуганного насмерть еврея, у которого, как установило следствие, двадцать четвертая ветка родословного древа проживает в Бонне; среди всех этих голодных, избитых судьбой, исковерканных пороками, своими и общественными; среди этих дрожащих от холода и страха полулюдей жила надежда…

Она бродит по ночным баракам призраком амнистии, обрывая тяжелые сны, завязывая бесконечные разговоры — разговоры до утра, пока дождливый ноябрьский рассвет не погонит всю эту массу тел инстинктом голода в столовую.

Шепот у печки. Пергаментный старик дразнит молодых тюремной байкой об удачном подкопе. Еще двое не спят на нижних нарах.

— Сеструха в Москву подалась. Собрала все бумаги и махнула. В моем деле главное — справки.

Справа слышно:

— На гидростанции зачеты один к пяти. Вот бы попасть.

— Нас там ждали!.. Туда кессонщики и водолазы.

— Не мели! Какие водолазы?! Пашку знаешь?

— Карзубого?

— Да нет… Харьковский. Тот, что за карман второй срок тянет…

— Ну?

— Х… гну! На плотину поехал. У него срок — пятерка, а через год свободка.

— Счастливчик. В детстве говно жрал…

Невольно роюсь в памяти — не ел ли я чего подобного?

— Вы когда отослали письмо? — в третий раз спрашивает Михаил Михайлович.

У нас с ним одно одеяло (у него украли в первый же день), одно преступление и тот же срок.

Он тоже сделал попытку к свержению существующего строя, но методом расхваливания шведского инструмента с показом цветных иллюстраций своим коллегам и перевода иностранных проспектов на русский язык.

Он одобрял текст письма Сталину, но сомневался в том, что подобные послания доходят до Кремля.

— Нужен человек, — говорил он, — непосредственно туда вхожий. У вас есть такой человек?

Такого у меня не было. Не было его и у Михаила Михайловича.

До того, как случай связал меня с Евгением Рокоссовским, я знал о нем совершенно достоверно следующее: родился на два года раньше меня в маленьком городке у польской границы. До войны был в детдоме, откуда сбежал на фронт. В сорок четвертом в пьяной драке зарезал офицера-летчика. Трибунал заменил расстрел штрафной ротой. Через полгода Женька командует батальоном в звании лейтенанта. Любимец солдат и предмет зависти офицеров дивизии.

За несколько дней до конца войны, войдя со своим подразделением в немецкий поселок, распорядился собрать немцев на площади. Пригнали человек шестьдесят.

Под угрозой расстрела приказал петь:

«Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля.
Просыпается с рассветом
Вся Советская земля…»

Четверых немцев, не пожелавших участвовать в хоровом пении, расстрелял собственноручно.

Снова трибунал. Победа спасла его от расстрела. Со сроком двадцать пять отправлен в лагерь, откуда вскоре бежал и около двух лет жил в Гаграх на содержании жен ответственных работников.

У одной из них он и был арестован. Рядом с постелью висела гимнастерка со звездой Героя (купил на черном рынке)…

Но главное было не это.

Везде и всюду, на воле и в лагере, он называл себя незаконным сыном маршала. Причем в это верили не только заключенные, но и командование лагеря. Его любили и боялись. Боялись и любили.

Он был единственный из двенадцати тысяч, чью голову не тронула машинка цирюльника, а это считалось пределом

уважения и доверия со стороны администрации.

Говорили, что он написал Сталину «обо всем»…

Говорили, что отец ждет от него только «покаянного письма» и тогда…

Так, наслушавшись долгими ночами про Рокоссовского, я засыпал, думая больше о нем, чем о себе.

— Костров! С вещами в баню! — рявкает надзиратель, прервав мои грезы.

Через час, после омовения теплой ржавой водой, дрожа от ночного холода под рваным бушлатом, стою у пульмана с решетками на застекленных люках. Рядом дрожит Михаил Михайлович.

— Быстрей! Быстрей! — лает конвой.

— Гав! Гав! — вторят овчарки.

— Пятьдесят шесть! Пятьдесят семь! — слышен счет начальника конвоя. — Пятьдесят восемь! Пятьдесят девять!

Занимаю верхние нары. Забиваюсь в угол. Здесь, кажется, теплее, хотя шляпки болтов белые от инея.

— Девяносто шесть! Девяносто семь!

— Трах-тах-тахсззз! — и дверь-стена закрыла от нас мир.

Стало тепло и даже уютно.

— Рокоссовский… — услышал я шепот Михаила Михайловича среди тел, наваленных рядом. Я приподнялся и увидел его.

Я узнал его сразу, хотя не видел никогда и ничего о его внешности определенного не слышал.

Черный военный полушубок, яркий шерстяной шарф, меховая шапка, из-под которой торчат светлые жидкие волосы. Рост самый обычный, чуть выше среднего.

Необыкновенным было лицо. Оно выражало гордое страдание и потому было красиво. Казалось, он не думает о себе, казалось, он думает обо всех сразу и обо всем.

Вагон затих. Никто не занимался собою. Все ждали чего-то.

И здесь произошло невероятное.

Кумир массы не спеша расстегнул полушубок, подошел к большой бочке и стал мочиться.

— Холодно, отец? — это была его первая фраза. Полувопросительная, теплая.

Михаил Михайлович привстал с нар, развел руками и улыбнулся.

— Со мной ляжешь, — твердо сказал Женька, снимая полушубок и бросая его к нам на верхние нары.

Полушубок упал на людей. Они, их было трое, немедля соскочили вниз, освобождая место.

Пожелав всем спокойной ночи, Женька накрыл себя и старика полушубком и тотчас уснул.

Возникший в углах шепот прекратился. Все провалилось в душную темноту…

Просыпаюсь от отчаянного крика. Вагон весь на ногах. Перед Женькой на коленях стоит довольно здоровый мужик с расквашенным в кровь лицом.

— Будешь блевать, падаль?! — спрашивает Женька и бьет его ногой.

Мужик пытается сделать требуемое, но что-то мешает ему. Наконец его вырвало. Женька внимательно осматривает блевотину.

— Не он, — молвит Женька, оглядываясь вокруг.

— Ты, поганка?! — и цепко схватил худощавого парня за бушлат, развернул его вокруг себя, и парень, не удержавшись на ногах, грохнулся к параше.

— Ну! Ну! Убью ведь…

Парня стошнило.

Оттащив его, Женька осмотрел трофей.

— Одна капуста, — разочарованно протянул он.

— Кто же сожрал булку старика, паскуды?! Выверну кишки!

Экзекуция возобновилась. Он выводил на середину вагона все новых и новых подозреваемых, и все повторялось, как при съемках дублей. Некоторые, правда, сами, выходя, засовывали палец в рот, доказывая тем свою непричастность. Однако доставалось и им.

Наконец Женька, видимо, устал. Он закурил «Казбек», прислонился к вздрагивающей двери и затих. Он долго курил молча и смотрел куда-то в самую даль, мимо вагона и людей.

— Дерьмо вы все! Перевешал бы всех… И тебя тоже.

Последнее относилось к Михаилу Михайловичу.

— Булку у него сперли! Вчера надо было слопать и дрыхнул бы спокойно, гнида. Свитер только перемазал…

Вынул цветастый платок, поплевал на него. Вытер руки. Потер свитер. Кинул платок в парашу и забрался наверх.

Теперь он был от меня не далее метра.

Двадцать семь суток провели мы в вагоне. Происшествий никаких, если не считать тихой смерти Михаила Михайловича.

Скончался он ночью во сне. Утром, при раздаче хлеба и каши, труп был вынесен из вагона. Пайку поделили меж собой те, кто выносил его.

— Сбежал старикашка, — сказал Женька с явной завистью и долго молчал потом.

По утрам он обычно пел. У него был баритон приятного мягкого тембра и отменный слух. Пел он исключительно довоенные комсомольские и молодежные песни, слова и мотив которых он никогда не искажал. Пел лежа, отстукивая такт ногой.

По вечерам он любил слушать. Здесь и состоялось наше знакомство. Узнав, что я работал в кино и прочел много книг, он переселился ко мне в угол.

Я рассказывал то, что помнил, нередко изменяя сюжет или склеивал несколько вещей в одну. Больше всего, помню, ему понравился рассказ Куприна «Наталья Давидовна», где классная дама института, пример добродетели и дисциплины, тайно предавалась порокам. И еще рассказ Некрасова «Двадцать пять рублей». Он просил повторять их, вспоминать подробности.

Однажды я спросил, зачем нужна ему была эта мерзкая затея.

— Наказание должно быть мерзким. Иначе оно не запомнится. Человека надо унизить до низости его поступка.

— Но ты унизил и невиновных.

— Виновны все. Или не виновен никто, — убежденно ответил Женька. — Почему, когда человек делает хороший поступок, общество присваивает его себе?! «Это мы его воспитали! Это наш член общества! Вот какие мы!» А если завелась гнида? Тогда что? Отвернулись?.. «Это не наш! Это прислали в посылке из Ватикана!»…Отвечают все. И отвечают за всех и за всё, — закончил тираду Женька.

Он еще раз сам вернулся к этой теме, когда я, не вдаваясь в подробности, поведал ему суть своего «дела».

Женька слушал, не перебивая. Глаза были закрыты, будто спал.

Когда я кончил, он, не открывая глаз, тихо изрек:

— Придворные переиграли короля… В детдоме у нас драмкружок был. Режиссер все Шиллера ставил. Придворных на репетициях по затылку лупил… «Кланьтесь! Кланьтесь, сукины дети! Кто же поверит в короля, если вы так кланяться будете?!» И по шее! И по шее!.. Зато знаешь, как старались! На смотрах все грамоты наши были.

— Злой ты, Женя.

— Злой, потому что добрый. Я своей доброты боюсь — она меня в роли придворных переведет. Понял? Думаешь, мне самому тогда приятно было руки об рожи пачкать? Началось с добра — старика жаль стало, обидели ведь… А кончилось злобой. Не делай добра и зла не натворишь. Я на фронте паскуду зарезал тоже от добра. Один красюк немку-школьницу приволок, напоил… Лямки порвал… А я в соседнем доме в картишки балуюсь. Выпиваем, конечно… «Выйди на минутку!»…Выхожу. Он

мне: то да се… На двоих предлагает. Захожу к нему, думаю б… какая-нибудь… А она в угол забилась. Не плачет. Только дрожит вся. Я ему толкую: «Брось!» А он меня трусом назвал… Я немку схватил и к дверям, а он бутылкой по плечу… На столе мессер-складняк… Ну, я его и поддел снизу. Девка в обморок. Шум, гам, как положено… Так трибунал свое затвердил: Рокоссовский — бабник и немку, мол, хотел отнять… Виноваты оба. Летчика нет, он копыта отбросил. Значит, судить кого? Женьку! Вот и вся логика.

— А девушка? Она-то?!

— Вот пень! Тебе же говорят: немка, школьница. По-русски ни бум-бум… Она так и поняла: один раздевать лез, другой пришел — отнимать себе начал…

— А те, другие?

— «Ничего не знаем», «ничего не ведаем!» Каждый под своей шкурой ходит… Да они и вправду ничего не ведали.

— Круг…

— И лучше самому круги замыкать, чем… Ты вот все философию ищешь, по какой жизни жить, а я уже пробовал и так и сяк. Только что к богам не обращался. Они для духа, как слабительное… Поносом душа изойдет, очистится — станет чистенькая и слабенькая. Дистрофия души…

Ангарск[1] встретил нас ветром и морозом в тридцать два градуса. От станции до лагеря — километров десять. Шли медленно. Женька шел крайним, справа от меня, и всю дорогу пел.

Окоченевшие и усталые вконец, останавливаемся перед воротами, на которых, прямо на сплетении колючей проволоки лозунг: «Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина!»

У ворот администрация: человек семь офицеров и большая группа надзирателей.

Начальник конвоя подошел к одному из офицеров. Что-то говорит, рукою показывая на Женьку.

— Рокоссовский! — громко выкликнул по формуляру офицер.

Женька вышел из толпы.

Начались обычные вопросы: статья, срок, место рождения. Женька стоял в трех шагах от офицера и курил, подняв воротник полушубка, ветер начал крепчать.

— Снять шапку! — приказал офицер, отдавая формуляр своему помощнику и засовывая озябшие руки в карман добротной шубы.

— Бесполезно, — ответил Женька.

Бросил окурок. Снял шапку.

— Не сняли в Ташкенте — здесь не пролезет…

— Остричь! — крикнул офицер и тотчас появился лагерный цирюльник, худой бородатый заключенный. В руках он держал машинку и, непонятно зачем, полотенце.

Бородач подошел к Женьке, потоптался около него.

— Не валяй дурака, парень…

— Я сам, — неожиданно сказал Женька, беря у него машинку. Все затихли. Было слышно, как где-то там, на территории лагеря, ныла циркульная пила.

Женька надел шапку, поманил к себе пальцем цирюльника. Тот подошел вплотную. Мгновение, — и все заорали, как в цирке, после той мертвой тишины, которая служит увертюрой к опасному трюку. Женька держал мощной хваткой цирюльника и стриг ему бороду.

Бедняга истерично дергал ногами, поднимая фонтаны снега. Совершенно лысый череп (шапка свалилась в самом начале расправы), клочки черной бороды и незабываемое выражение лица.

Вокруг стоял гомерический хохот. Хохотали все, как спятившие. Хохотали все этапники, хохотали надзиратели, хохотал конвой, стоявший вокруг с автоматами наготове, хохотали офицеры и даже тот, чье приказание было началом всему. Бородачу было обидно до слез, но в этой всеобщей истерии смеха его унижение показалось ему ничтожным. Он был причиной этого бурного веселья, о существовании которого здесь давно забыли и те, кто там, за проволокой, и те, кто охранял их. Цирюльник почувствовал в эту минуту то, что чувствует актер, когда ему впервые в жизни удается завладеть залом. Он заулыбался. Заулыбался сквозь боль обиды, которая сползала с его лица, как маска. Появилось человеческое лицо. Его лицо! Настоящее! То самое, которое имел этот человек до всего этого там, далеко, дома, давным-давно… Он смеялся, счастливый и свободный в этом человеческом смехе. Он не был жертвой Женькиного протеста. Он был сейчас соучастником, пособником его.

Первым, кто понял смысл этой победы смеха, был тот же офицер.

Со злобной улыбкой он спросил Женьку:

— Под блатного работаешь?

— А ты небось под большевика?

Смех стих. Все сразу разделилось, резко и четко. Все, соединяющее, смешавшее всех в единое минуту назад, исчезло. Майор что-то сказал на ходу и удалился. Ушли и все остальные

офицеры.

Что-то готовилось…

Прошло полчаса. Все пятьсот человек махали руками, пытались бороться друг с другом. Наступал безжалостный холод.

Из ворот вышел маленький лопоухий сержант и бабьим голосом объявил:

— Стрижца не будешь — никто в зону не пойдеть!

Толпа загудела. Расчет был верен. На единомыслие нашей толпы смешно и рассчитывать было. И Женька, конечно, это понял. Я стоял в пяти шагах от него и видел, как он смотрел на бурлящую массу. Он проигрывал. Он должен был сдаться, подчиниться, унизиться, иначе его разорвет в клочки эта озверевшая от холода масса.

Мы встретились с ним глазами на один миг. За этот миг пронесся наш последний в вагоне разговор и попытка найти выход, найти ему совет… Но это у меня, а у него что?

Безусловно, он тоже жил этим. Он не ждал от меня совета или помощи (что я мог?); ему нужно было видеть, *что* я от него жду.

А я искренне хотел его победы. Не знаю, увидел ли он это в моих глазах, помогло ли ему это, или он, будучи совершенно одинок в эту минуту, нашел *только в себе* эту силу…

Женька стал раздеваться.

Сбросил шапку к ногам, шарф, полушубок. Рванул в каком-то красивом отчаянии свитер. Сбросил бурки. Размотал байковые портянки, снял вязаные носки.

Как только он начал снимать полушубок, я понял, какой выход он нашел. Кровь бросилась мне в голову, в ноги, в руки — я уже не чувствовал обжигающего ветра. Я даже улыбался. Улыбался не губами, а чем-то там в груди, наверное, мышцами сердца, которые и гнали кровь во все концы окоченевшего тела.

Это творилось не только со мной.

Гул прекратился. Все смотрели на Женьку. Смотрели так же, как тогда в вагоне. Женька продолжал раздеваться. На снег легли галифе, теплые кальсоны, ковбойка, нижняя рубашка. Он остался в трусах. Аккуратно поставил бурки рядышком, развесил на голенищах носки, свернул рулетом портянки. Стоял он, правда, на полушубке — это он себе все-таки позволил.

Все замерло вокруг. Даже собаки, вытянув шеи, смотрели в его сторону.

Женька закурил и, делая очень маленькие шаги по полушубку, о чем-то думал. Лица его я не видел: он стоял ко мне спиной, между лагерем и нами, отхлынувшими от него, как от чуда.

Прошло, наверное, минут двадцать, показавшихся мне часом. Вокруг стали собираться группы вольных. Рядом был город, здесь проходила дорога, и, естественно, голый Женька и гробовая тишина остановили самых нелюбопытных.

В основном это были женщины. Они подняли крик. Сперва отдельные слова долетали до нас. Потом они слились в стон. Нет, никто не плакал, но в голосах слышались удержанные в себе рыдания. Залаяли собаки. Лай был не тот обычный, злобный, который сопровождал нас все десять километров. Это тоже был стон, собачий, но все-таки стон. (Я слышу его даже сейчас, это забыть невозможно.)

Женька курил третью папиросу.

Сдавило горло. Хотелось что-то делать: бежать, кричать, ломать, просто упасть в снег, чтобы ничего не видеть и не слышать…

Вдруг ворвался новый звук. Все повернули головы. По дороге, волоча за собой длинный снежный хвост, несся мотоцикл.

Он влетел в пространство между Женькой и воротами и зарылся от резкого тормоза в снег. Помню желтые новенькие краги перчаток, которые снимал приехавший, и наручники, которые висели прямо на руле, как бусы, и которые еще долго позванивали на морозе. Краги прилажены на сиденье мотоцикла. Холеные, почти женские пальцы расстегивают меховую кожанку. Перед глазами будто магниевая вспышка… Оранжевый круг, слепящий, оглушающий. Только тогда, когда я инстинктивно закрыл глаза рукой, защищаясь от этого, в голову вошел звук выстрела, сухой, как от бича, и громкий властный крик:

— Ложись!

И снова вспышка магния, снова бич и снова «Ложись!». Я уже не видел ничего, так как первое «ложись» вкопало меня в снег, и перед глазами был только рукав моего бушлата.

Стреляли и кричали долго. Потом все стихло.

— Поднимайсь! — тот же голос.

Женьки не было. Не было и его вещей, только коробка «Казбек» валялась на затоптанном, грязном снегу.

Через двадцать суток Женька был выпущен из изолятора, где он провалялся на цементе в своих сатиновых трусах. Меню: триста граммов хлеба, миска теплых щей из кислой капусты и тресковых голов. На ночь ему швыряли матрац и передавали махорку в дни дежурств гуманных надзирателей.

Вернулся он веселый и, что меня поразило, ничуть не похудевший, не побледневший. Только на руках остались ссадины от наручников, которые ему тогда сумели набросить пятеро

здоровенных надзирателей.

Первое, что сделал Женька, подходя ко мне, — снял шапку. Волосы были при нем.

Лагерь был юртовый.

Надо объяснить, что такое юрта. Я, признаюсь, тоже думал, что это что-то круглое из шкур…

Это совсем другое, хотя принцип круга положен в это очень удобное сооружение.

На голое место машина привезла щиты. Щиты из досок, а внутри — опилки. Щиты с окошками, щиты без окошек, щиты с дверями. Их по кругу, диаметром в пятнадцать метров, поставили вплотную, соединив при помощи гвоздей.

Это работы на час. Потом внутри круга вкопали четыре столба, на них положили доски — стропила, которые держат крышу из щитов, обитых рубероидом.

К вечеру юрта готова.

Вносим двухъярусные нары, табуреты, тумбочки и входим сами — восемьдесят человек — две рабочие бригады с бригадирами и культоргами. (Последние ведают раздачей писем, получением хлеба.)

Главное достоинство юрт — тепло. Дневальный сутками кормит углем прожорливую печь. Можно сушить портянки и обувь, можно варить похлебку из украденной на кухне мороженой картошки.

При выходе из лагеря два барака. Штабные кабинеты администрации. Бухгалтерия. Цензорская. Надзирательская. Санчасть.

В центре лагеря огромный бревенчатый клуб с театральной сценой, кулисами, занавесом и киноэкраном.

Отдельный вход в библиотеку и читальный зал.

Библиотека…

С какой бережливостью хранятся здесь книги! Их штопают, склеивают, разглаживают утюгом мятые страницы.

Позже я видел, как одного негодяя, сделавшего из «Капитанской дочки» колоду карт, избили до полусмерти.

Лагерная библиотека — хранилище прекрасных книг. Свободно читай Гумилева, бери Цветаеву, Бунина и Булгакова, Фрейда и Ницше…

Издания в основном дореволюционные и двадцатых годов. Почти на каждой книге экслибрис: «Профессор Петербургского Университета…», «Настоятель церкви Св. Ольги…», «Доктор исторических наук…», «Из частного собрания…»

Фамилии, фамилии, инициалы…

После ареста владельцев книги экспроприировали и развозили (странно, не правда ли?) по тюремным и лагерным библиотекам.

Заниматься цензурой, видимо, было просто некогда и некому. Была другая, более важная работа.

Я зачислен в бригаду бетонщиков.

— Пятьдесят тачек до обеда, тридцать после, — объявил бригадир, вручая брезентовые рукавицы.

Промышленная зона.

По периметру за день не обойдешь. Работы ведутся в три смены. Воздвигаются корпуса комбината и жилые кварталы города.

Два завода круглосуточно выдают жидкий бетон. Самосвалы доставляют к нам на площадку. Мы развозим его в железных тачках.

Бегом по узкой обледенелой доске… Сзади наседают другие… Остановиться нельзя — сшибут. Потом не заберешься с тяжелой тачкой на доску, завязнешь в глубоком снегу.

— Бегом! Бегом!

Болят плечи и спина. Они будут болеть и ночью.

Болят обмороженные пальцы и щеки.

— Живей! Краснознаменная!

Это юмор бригадира. Он у костра. С ним — культорг, беззубый цыган и еще один — Сашка, по кличке «Шпала», длинный, вечно улыбающийся тип.

Шпала — «вор в законе» и работать ему, как известно, не положено. Он хлебает из закопченной кружки чифир и отмечает щепочками на снегу количество тачек.

Все взаимоотношения в бригаде держатся на силе, и потому каждый только сам за себя. О справедливости заикаться глупо и даже опасно.

Возвращаясь с работы, я съедаю вечернюю кашу и заваливаюсь на нары. Заполненное болью тело долго не дает уснуть. Боль сильнее усталости. Волей-неволей становишься очевидцем…

Из санчасти (он там работаем санитаром) к бригадиру пришел Катрин — маленький толстозадый педераст. Он беспрерывно хихикает и облизывает губы. Макает в сладкий чай печенье. Жмурится от удовольствия, рассказывает последние новости.

— Утром один фашист загнулся. Начали раздевать для

вскрытия, а у него браслет на ноге… Девяносто шестая проба.

— Не свисти!

— Во… — Катрин крестится кружкой.

— Давай доедай. Спать охота.

Бригадир нарочито громко зевает. Завешивает угол одеялом. Дневальный гасит свет. Все делают вид, что спят. В щекочущей тишине слышно, как Катрин доедает печенье. Звякнула пустая кружка. Вот скинул один валенок, другой… Хихикнул. А вот и громкий храп бригадира. Это он заглушает другие звуки. Стыдится все-таки…

Пятый день бюллетенит культорг. Вспухла рука: Пользовался грязным шприцем. Достал наркотик и со Шпалой подкололся. У Шпалы ничего, а тут лежи… Больному зачеты не идут. Цыган в плохом настроении.

— Деньги, деньги… У меня навалом деньги были! — Это он бригадиру, который заявил, что цыгане — «сплошная голь-шмоль». — Я таких на воле раз-два и к стенке! Вечор подрулишь к заводу в день получки… Худо-бедно — два лопатника саданешь.

— Зубы, видно, у проходной и оставил, — резонно замечает бригадир.

Юрта ржет.

Дневальный — дед Мазай (это от фамилии Мазаев), обычно молчавший, вступается за культорга:

— Да чего ты ему доказуешь? Послушать, дык он один тыщи имел… А на волюшке встреть, дык в кармане вошь одна и та с голоду ползти не можит.

Бригада хохочет, довольная критикой в адрес бригадира.

— Да, читал я твой формуляр! — многообещающим тоном прерывает бригадир. — Контролер в трамвае! Зайчишек ловил дед Мазай?!

Юрта катается от смеха.

Дневальный бросает веник, опускается на табурет и ждет, когда затихнут.

— Грамотной? — Это он бригадиру. — Давай считай. В Ленинграде сколь маршрутов на кладбищах кольцо имеют?.. Восемь! На второй остановке от кольца садись — полвагона без билетов… А почему?.. Потому что не до этого им… Дык рублики так и вынимают, и вынимают. За один троицын день по двести имел. Законные.

В бригаде был только один убийца — Волобуев. Леха. Москвич. Черноглазое симпатичное лицо портили маленькие жидкие усики.

Большинство относилось к нему с молчаливым уважением.

Никто не задевал его, но и не искали контактов. Кого он убил, никто не знал, однако статья и срок свидетельствовали о преступлении со всей очевидностью.

По вечерам он исчезал и возвращался поздно, когда все уже спали.

Однажды в середине января градусник показал минус сорок три градуса! Выход на работу отменили из-за опасности повального обморожения.

В этот день из юрты не выходили. Чтобы не выпустить драгоценное тепло, мочились в форточку. Гудела раскаленная печь.

При раздаче обеда (его принесли в ведрах рабочие кухни) выяснилось, что Лехи нет.

Ему оставили порцию, тут же забыв о нем. Поздно вечером распахнулась дверь. Ворвалось холодное облако, и надзиратель:

— Волобуев ваш?!

— Натворил чего? — спрашивает бригадир.

— Повесился, сука… В бане. Выдели двух — за зону вынести надо.

Еще раз ворвалось холодное облако.

Лехино место наискосок от меня, ближе к печке.

Там уже раскладывал свои шмотки дед Мазай. Мешая ему, топтались еще двое с миской, доедая Лехину порцию…

Теперь о Марке Живило.

Это был очень интересный человек и очень болезненный. Чахотка жила в нем с рождения, и он так привык к ней, что относился к болезни с юмором. Он был весь какой-то удивительно юный, хотя ему было за тридцать. Очень красивые нервные руки. Руки художника. И он был им.

Старушка-мать жила в Москве в большой квартире-мастерской, где он оставил недорисованные полотна и безысходную тоску, которая пряталась между строк материнских писем.

Тачку он катал лучше меня. Я был сильнее его, но у него было то, чего не было ни у кого — озорство души.

Этого озорства боялась чахотка, заявляя о себе лишь румянцем на впалых щеках да нет-нет — невысокой температурой. А с тачкой он был просто дружен.

— Доброе утро, красавица, — восклицал Марк, встречаясь с нею.

Гладит заиндевелые за ночь рукоятки, вертит, разгоняет колесо веселым махом руки.

— Давай покатаемся, славная! Не упрямься! Этак и простудиться можно!.. Вы смотрите, целую ночь лежит на снегу!

Воспаление легких схватишь, глупышка!

И покатил ее легко, как катают санки беззаботные мальчишки.

— Виктор Александрович! — кричит он, нагоняя меня. — Какую вы видите перед собой цель?!

Он не ждет ответа. Отвечает за меня, смешно копируя мою интонацию тупого безразличия.

— Будь целью мир — я его не вижу…

— Зануда! У вас атрофировался смехотворный орган! А умрете вы самой неинтересной смертью, уверяю вас! Я вас перееду тачкой и вылью на ваш труп раствор. Как вы догадываетесь, он мгновенно затвердеет и на глазах превратится… Не в обелиск, которого вы не заслуживаете, а, извините, в коровью лепешку из бетона.

Я очень отчетливо вижу эту дурацкую лепешку. И себя, навечно замурованного в ней… Я улыбаюсь.

— Вы улыбнулись! — кричит Марк. — Я вижу это по вашим ушам! Они шевельнули шапку!

И так — весь день. С тех пор, как Марк пришел в бригаду, я начал, во-первых, выполнять норму, во-вторых, быстро засыпать — не так болели плечи. И потом…

— Вы действительно не видите цели, когда катите тачку? — Это уже разговор вечером, в читальном зале клуба.

— В таком количестве юмор вреден, — нелюдимо отвечаю я, не отрываясь от газетной подшивки.

— Я тебя серьезно спрашиваю.

Неожиданный переход на ты настораживает меня. Смотрю в самую глубину его добрых глаз и задаю вопрос, который он, кажется, и ждал от меня.

— Ты хочешь, чтобы я был с тобой откровенен?

— Да.

— Зачем тебе?

Он задумался. Грустно улыбнулся.

— Легче будет…

Помолчал. Добавил:

— …тебе.

— Хорошо, Марк, но… Надо с чего-то начать.

— Вот и ответь мне о цели. Нет, лучше я тебе скажу… Слушай…

Он отложил газету, пересел ко мне.

— Только ты забудь на миг, что лагерь, что срок, что обида… Забудь. Это все — не ты. Схватываешь? Это новые условия, в которые твое «я» поставлено. Ну, были бы другие… Представь!.. Допустим… Полюс, вокруг льды… У тебя последняя сигарета и

мертвая собака у ног. Твоя собака по кличке Марк… Или — иное… Ну, на доске ты в открытом море… В заваленном бомбоубежище… Какая разница! Условия! Схватываешь? Новые условия! Они ненормальные для тебя, потому что они новые! Но ты сам как человек, как личность остаешься неизменным! Ты — это все равно ты, а не кто-то другой… Я тебе дам сейчас ящик сливочного масла… Твоя сущность изменится?! Ты сегодня будешь спать в кровати в стиле мадам Помпадур!.. Что-то произойдет с твоим мозгом?

— Произойдет, — вырвалось у меня. — Я не знаю, к чему ты это все ведешь, но я тебе говорю, произойдет! Я почувствую себя человеком.

— Выходит, что, переночевав неделю на скотном дворе, ты станешь скотом?

— Да, Марк, да! Иначе для чего все?! Если человеческое остается при любых условиях, даже нечеловеческих, то зачем и сам человек? Заведи общие корыта, сбрось одежду, сожги книги и картины… Для чего все?! Человек и без этого человек! Так, что ли?

— Да! Гордость духа! Она только у человека! Потому он выше условий и сильнее их! Он свободен от них!

Марк действительно глядел сейчас на меня радостно и свободно, не было ни мук, ни заботы, ни сомнений.

— Марк, — сказал я ему. — Я завидую тебе, хотя и не могу понять, как это все у тебя сделано там, внутри…

— Потому, что ты — слабый! — кинул он с лихорадочной радостью. — Слабый! Слабый! — повторил он уже совсем со счастливой улыбкой. — И потому тачка тебе ненавистна… А я ее приветствую, как новое! Я знакомлюсь с нею и осваиваю, как новое условие… Я вижу, как ты возишь бетон… У тебя лицо раба! Да, раба, униженного до скота! А я вижу там дом, я вижу детей, играюпщх в мяч, на том месте, где ты с проклятием перевернул тачку!

— Презабавно…

— Нет! — кричит он мне в самое лицо. — Нет! Я не сумасшедший! Сумасшедший ты! Потому что цель у тебя одна — создавать условия для существования! Любым способом, но создавать! Создавать! Создавать! Забыв о себе, ты думаешь об условиях для себя! Чтобы теплей! Чтобы сытней! Чтобы легче!.. Истратив себя на это, ты придешь к своей цели пустым! Среди созданных тобою условий ты меньше всего будешь человеком. Ты станешь жирной, сонной свиньей!

— Оригинально, — промямлил я, оглушенный его приговором.

— Ничуть. Просто надо жить познанием самого себя! Схватываешь? Самого себя!! Тебя должна интересовать твоя сущность, и как эта сущность поведет себя в новых условиях и обстоятельствах… Это и есть познание Материи в Пространстве и Времени!

Я растерялся. Все полетело вверх тормашками. Не нахожу ни одной мысли в башке. Наверное, у меня стало лицо круглого дурака, потому что я спросил:

— Ты меня принимаешь за дурака?

— Конечно, — услышал я радостный ответ.

— А я тебя считаю ненормальным.

Он даже подпрыгнул от восхищения.

— Ты — прелесть! Давно не видел такого клинического дурака! Ты дурак-рецидивист! — Он смеялся от души.

— Герцена ты, конечно, забыл, — продолжал он с иронией. — Или не читал. Где уж там… Некогда… Надо создавать условия! Напомню: «Почему вы здесь?» — спрашивает Герцен у одного из обитателей Лондонского сумасшедшего дома. «Мир считает меня сумасшедшим, сэр… А я уверен, что мир сошел с ума. Беда моя в том, что большинство не на моей стороне». Схватываешь? По крайней мере — контакт со мной идет тебе на пользу. Ты не ощущаешь разве?

— Почему ты здесь, в тюрьме? — задаю я коварный вопрос.

— Я этого хотел, — отвечает Марк, не моргнув глазом. Поднялся. С видом абсолютного превосходства оглядел меня, сделал ногами что-то похожее на танцевальное движение и уселся на прежнее место, открыв свою газету.

Психопат. Это точно. Другого быть не может. Но почему он здесь, со всеми вместе? И потом: письма матери… Он давал их читать мне. Нет, что-то иное…

— Ты, кажется, опустился до того, что не веришь мне? — спрашивает он с сожалением.

— Если в это поверить, то… — я замялся.

— То что?

— Ты очень несчастный человек.

— Я счастлив, Виктор. Я счастлив, потому что я всегда делал то, что хотел! А сейчас я хочу спать. Ты утомил меня. Идем.

С этого вечера я стал следить за Марком. Смотрел, как он ест, как разговаривает с другими, как реагирует на события, которым так перенасыщено лагерное бытие. Он превратился в объект моего пристального внимания. Я занимался им и только им. Все остальное как-то невольно отодвинулось, стало неважным, второстепенным.

При всей наблюдательности и внимании к мелочам, при всей

остроте восприятия, на которые я был тогда способен, я не мог поймать его, уличить в неискренности или, что я больше всего сам не хотел, прийти к выводу о его ненормальности.

Марк был нормален. Марк жил так, будто хотел жить здесь всегда.

Он постоянно придумывал всяческие приспособления в нашей нехитрой работе и тут же внедрял их, не удивляясь, что большинство презирало его за это. Он писал лозунги в клубе. Читал вслух для всех наиболее интересные сообщения из газет. Получаемые регулярно посылки от матери он ставил на тумбочку посередине юрты и произносил немного театрально, но от души:

— Прошу к столу!

Содержимое расхватывалось тут же и съедалось почти мгновенно.

Марк смотрел в эти минуты на меня взглядом победителя и говорил вполголоса:

— Смотри. Смотри во все глаза… Я сменил им условия, а людьми они не становятся…

Над ним незлобно посмеивались. Он был выгодной потехой в бригаде. Не зная ничего ни о нем, ни о его точке зрения на все, Марка считали «дурачком», «с приветом», «тю-тю».

Его способности как художника не меняли к нему отношения. Ими пользовались.

Как-то на глазах бригады при помощи пера и красной туши в течение часа Марк нарисовал почтовую марку, которая тотчас была наклеена на конверт.

Письмо дошло до адресата.

С тех пор марок никто не покупал.

После того разговора в читальном зале меж нами легла некая дистанция, некая мертвая зона.

Я не переходил ее, изучая Марка со стороны, томясь любопытством к нему и переживая всю непостижимость его бытия, а он… Он — не знаю. Может быть, потянувшись ко мне и открыв себя, он теперь судил себя за эту слабость.

Вторично столкнул меня с Марком случай. Именно случай, хотя Марк позднее и уверял меня, что этого хотел он, что это было его желанием.

Наконец и сюда, за колючую проволоку, через запретные зоны, не обращая внимания на надписи «Стой! Стреляю!», пришла весна.

Сняла пропахшие потом и дымом костров бушлаты, дала отдых печам И принесла с собой такую горькую печаль, что хоть не выходи из юрты.

Горланят сойки, раскачиваются на колючей проволоке,

дразнят вооруженных людей: «Не пальнешь! Не пальнешь! Мы — вольные!»

Пахнет жареным… Это успели попасть в котелки доверчивые бурундуки.

Шуршат в прошлогодней траве серые ящерицы. Им нечего бояться — до этого не дошли.

Бригаду перекинули на разгрузку шлакоблоков. С платформы. Он, сволочь, хрупкий. Только из рук в руки, по цепочке. За каждый расколотый кирпич занижают процент выработки всей бригаде.

Небо чистое. Теплынь. Разделись до пояса. По цепочке бегут, словно катятся с горы, пемзовые буханки…

В стороне от цепочки — культорг и Шпала. Курят. Бригадира нет сегодня, он на свидании. К нему приехал отец.

Платформа пустеет. Последний ряд кирпичей и все.

Вдруг Марк (он там, на платформе, в самом начале цепочки) закричал:

— Придумал! — и со всего маха ухает шлакоблок на рельсы.

Все замерли.

— Слушайте вы, дурачье! Я придумал! Положим доски… Вот так… Схватываете?! С платформы — на землю! И они будут катиться сами! Сами! Только лови и складывай!

Марк спрыгнул с платформы.

— Айда за досками!

Дорогу перегораживает Цыган.

— Ты что шута ломаешь, жиденок?!

Культорг поднял с рельс кусок разбитого кирпича.

— Это тебе цирк?! Я тебя спрашиваю: цирк?!

Помню лицо Марка. Он нашел глазами меня. Улыбнулся и развел руками. Он ничего не говорил. Он молчал. Но я слышал его слова: «Видишь, я меняю условия, но они опять…»

Цыган бьет его шлакоблоком и что-то орет. Я не слышу, что… Я прыгаю туда, где его лицо, где его беззубый рот. Он хрипит, таращит на небо глаза, слабо пытается оттолкнуть меня, но я продолжаю сжимать пальцы на его шее.

— Витька, не смей! — кричит Марк. — Не смей!

Крик отрезвляет меня. Ору стоящим вокруг:

— Что вы стоите, скоты?!

Они, кажется, ждали этого.

Били все. Били страшно. Били до смерти. И пришлось бы выносить культорга за зону, если бы не подоспевшие надзиратели.

Не принимали участия в этом Марк и Шпала. Марк с философским лицом обмывал водой из ближайшей лужи ссадины

на плече, а Шпала все курил и, как обычно, улыбался бессмысленно.

Штрафной изолятор весной — это пустяки. Через пять суток я возвращаюсь в бригаду. Без меня в бригаде прошли «перевыборы». Теперь культорг — я. Цыган в сангородке и сюда более не вернется. Бригадир приглашает «откушать чаю», а Шпала, сдавая карты партнеру, загадочно шипит:

— Не обрежься, культорг…

Марка я нашел в читальне.

— Как новые условия?

— Я тебя понял, — сказал я, пропуская его насмешливый вопрос. — Но мне это не подходит.

— Почему?

— Ты не совсем свободен, Марк. Ты во власти и очень жестокой. Я еще не знаю, что это, но это власть…

— Ты прав. Я во власти самого себя.

— Ерунда.

— Гляди…

Он вынул из кармана монету, прикоснулся губами к ней и положил передо мною на стол.

— Драхм. Греция. Десятый век.

— И что?

— Это я.

Мне стало не по себе, как и тогда.

— Это очень древнее… Это очень мудро и красиво.

Глаза его заблестели. Юношеский румянец залил его лицо. Он был откровенен сейчас до конца. И был великолепен.

— Схватываешь?

— Нет, — прошептал я, глотнув слюну.

— Я спрашиваю: «да» или «нет»? Бросаю…

Он подбросил монету.

— «Нет!» И я следую этому «нет»! Я спросил себя: будет ли мне интересно в тюрьме?

Он перевернул монету.

— «Да!»… И я сделал так, чтобы быть здесь. И мне интересно!.. Будет ли мне интересно, если я ему откроюсь? «Да», — ответила монета, и я открылся тебе.

— И ты никогда не поступал иначе?

— Нет.

— Ты давно живешь… так?

— Мне не было четырнадцати… Я нашел ее на Валдае. Там курганы. Священные могильники. Местные мальчишки копали их потихоньку. Кто меч находил, кто кости. Я нашел ее… А бросил впервые в Москве. Спросил: ехать мне с Ураловым этюды

рисовать или не ехать? Игорек в нашем дворе жил. Мотоциклист заядлый и рисовал прилично… «Не ехать», — ответила монета. Ночью звонок в квартиру. Игорь разбился. Все. Точка. Схватываешь?

Марк поднял монету, снова коснулся ее губами и положил в карман. Все это вошло в меня и полностью овладело мной.

На другой день я приступил к обязанностям культорга бригады.

Дневальный будил меня теперь раньше всех, и я мчался в столовую занимать очередь за хлебом.

Днем вместе со всеми стоял на разгрузке по новому методу Марка Живило.

— Культоргу вкалывать не обязательно, — заметил бригадир.

— Обязательно. И бригадиру, кстати, тоже.

— Но-но, не поднимай волны — захлебнешься…

После работы я забегал в цензорскую и получал охапку писем на бригаду.

Писем писали и получали много. Они бережно хранились, их возили с собой по этапам, перечитывали до дыр и часто вслух.

В бригаде только двое не писали и не получали писем: дед Мазай и я.

— Вранье все, — бурчит дед, когда кто-нибудь читал вслух. — Вранье и обман. «Жду, люблю»… А ослобонишься — мать честная! Этому дала, этому дала… Сороки они все. Тьфу!

Но Мазай не в силах был посеять сомнение. Письма продолжали идти, и им продолжали верить.

Выслушав как-то мою историю, Марк возмутился и заставил написать Томке и тете.

Томке я чиркнул буквально несколько строк, а тете накатал четыре листа.

Через неделю пришел конверт. Дрожа всем телом, я вынул из него сложенную вдвое бумажку.

Какая ирония! Это оказалась копия решения народного суда Куйбышевского района города Ленинграда о разводе Фридман Людмилы Яковлевны, проживающей там-то, с Костровым Виктором Александровичем, находящимся в местах заключения…

Выходя из цензорской, я бросил бумажку в ящик для мусора.

Рокоссовский ходил по лагерю в бостоновом костюме цвета натурального индиго и каждый день менял рубашки.

— Привет, контра! Не повесился еще? — Женька угощает «Казбеком». — Бери… Бери больше! От махорки — тоска по Родине возникает. Ну, как Сталин? Помалкивает? А ты еще

отошли. Каждый день отсылай. Думаешь секретари их передают? Ими печки топят.

— Сейчас не сезон, вроде, — горько шучу я.

— К зиме идет заготовка. Эх, если б с папашей я поладил… В момент бы твое письмо… В самые руки. Ну, бывай! — Женька подает руку.

— Воры в бригаде есть?

— Есть. Сашка Шпала.

— Не обижает?

— Да нет…

— Не связывайся…

Он уходит, скрипя новыми лаковыми штиблетами, которые накануне я видел на ногах известного скрипача, прибывшего этапом из Москвы.

Марк отрывает меня от книги.

— Я — экспериментатор, ты — кролик. Помещаю кролика в новые условия. Переговоры с начальником ка-вэ-че (культурно-воспитательная часть) окончились положительно, как и предсказывала монета!.. Ха-ха! Первая запись в журнале опытов: морда кролика вытянулась и стала похожа на муравьеда. Муравьед назначен заведующим клубом!

— Ты что?! Меня выгонят в тот же день.

— Боги никогда не занимались обжигом горшков, — поморщился Марк.

Майор Сметанин, без сомнения, обладал одним из редких качеств: он был вежлив.

— Костров, мы вам доверяем, — сказал начальник КВЧ при первой беседе. — Мы доверяем вам не только материальные ценности. Люди — тоже ценность, а вам работать с людьми. Контингент у нас большой. Талантов — хоть отбавляй. Надо регулярно проводить концерты. Вовлечь в работу кружков максимум. И обязательно — хор. Большой хор. Командование не пожалеет затрат. Пошьем костюмы. Выставки устраивайте. Регулярно чтобы стенная газета выходила и чтоб чистота в клубе была, как в храме. Договорились?

— Договорились, гражданин майор.

— Ну, ни пуха ни пера! К черту посылать начальство не положено… Потому шагайте, принимайте ценности. Жить разрешаю в клубе. Ворья не приводить, не чифирить, педерастов гоните метлой. Все. Вы — свободны.

Я принял ценности: духовые и щипковые инструменты, два

аккордеона, рояль и гонг. Расписался в акте в том, что отныне я владетель пяти тысяч четырехсот восьмидесяти семи книг, двух графинов и четырнадцати картин различного жанра (масло).

Штат мой состоял из одного дневального; он же сторож, он же истопник, он же киномеханик, он же Петя Стригун — хулиган из Воронежа, молодой парень с рожей шекспировского плута, который через минуту после подписания акта поставил на стол мятую кружку с крепчайшим чифиром.

— Цейлонский…

Я отхлебнул. Он тоже. Я сделал еще глоток и почувствовал себя заведующим.

— Петр, — произношу я тоном кардинала Ришелье. — Мы должны превратить этот сарай в храм!

Он помрачнел и исподлобья взглянул на меня.

— Сектант, что ли? За это срок могут добавить…

— Да нет же! Вот чудак! В храм искусств! К нам будут идти, как на очищение, понимаешь?

— Как в баню, — осклабился он.

— Да, Петро, да! Баня для омовения души!

— А где метлы брать, заведующий? По юртам воровать больше не пойду — шею могут накостылять.

— Будут метлы! Будут! — пообещал я с такой обнадеживающей интонацией, что Петр просиял и уважительно спросил:

— Как вас звать-величать?

— Зови Виктором… чего там…

— Ни-и… Лучше — Лександрычем.

— Давай Лександрычем.

— Петро! Петро! — ору благим матом на весь зал.

— Ну, чего? Чего вам?

Петр появляется из-за кулис.

— Ты зал подметал?

— А то как? Сам он, что ли, подмелся?

— А это что?

— Где? — спрашивает он, не двигаясь с места. Я в середине зала. Он на сцене, в пятидесяти метрах от меня.

— Вот! Вот! — показываю пальцем на пол.

— Как что? Крыса. Дохлая…

— Ну, и что мы делать с ней будем?

— А я знаю?

— Тебе не приходило в голову ее выбросить?

— Ни-и… Я их боюсь.

Раннее утро апреля. Парит. Я поливаю зеленый газон у входа. Петр присобачивает афишу, которую по вечерам писал Марк. Трехметровый алый тюльпан, из него сыплются буквы: «Большой первомайский концерт!». Внизу — разным цветным шрифтом: «Сегодня». Этих «сегодня» целая куча. Из кучи выглядывает смешной клоун с миской на голове и манит пальцем. Заходите, мол…

Майор Сметанин, оглядев афишу, сказал:

— Ай, ай, ай… Вы историю Первомая знаете? Что он собою олицетворяет? А, Костров?

— Праздник весны, гражданин начальник, праздник дружбы…

— …и солидарности трудящихся всех стран, — заканчивает майор. — Так? А у вас что?

Я молчу. Гляжу на клоуна с миской на голове.

— Политическая безграмотность. За эту афишу на воле срок заработали бы. Цветочки, буковки, гномик…

— Это не гномик, это — клоун.

— А зачем клоун?

— Он зовет на концерт.

— На первомайский концерт зовет клоун?

Майор смотрит на меня уже совсем подозрительно.

— Мы думали, что все должно быть веселым. Как-то настраивать на веселье… Это же концертная афиша все-таки…

— Не обижайтесь, Костров. Придется переделать. Я дам команду. С объекта пришлют художника.

После обеда Петро приколотил новую: на голубом фоне, обозначающем небо, рядом с маленьким облачком, самолет. На первом плане, взявшись за руки, стоят люди. Рабочий и колхозница, китаец в соломенной шляпе, негр с бусами на шее и еще несколько людей неопределенной национальности. Все они образуют полукруг. Крайние держат кумачовую ленту. На ней надпись: «Первомайский концерт».

Внизу красные силуэты заводов, башенных кранов и мачты высоковольтных линий.

Зал набит до отказа. Шум стоит страшный. Марк успокаивает меня тем, что в Содоме было намного шумнее и что сила зрелища заставит смолкнуть стихию.

Концерт открывает Морозов — высокий парень с бычьей шеей и с голосом ярмарочного зазывалы. Я даю сигнал гасить в зале свет. Морозов пошел за занавес.

Зал сразу стих, а через мгновение наступила такая тишина,

будто там, за занавесом, никого не было.

Шагает май! И этим маем
Земля одета в красный цвет!
Мы вас с весною поздравляем!
И шлем горячий вам привет!!

Загрохотало, будто обрушился потолок. Топот ног, свист, крики.

— Крой, Никола!!! Бис!!! — неистовал зал.

— Давай цыганочку! — кричали другие.

— Изобрази, Колька! Шпарь!

— У-гу-гу!!!

Перекрывая галдеж, Морозов кричит:

— Цыганочка будет! Будет! Не лезь без очереди — милиция оштрафует!

Хохот. Аплодисменты. Зал затихает.

— А сейчас стих слушайте о советском паспорте! Маяковский написал! Владимир!

Зал опять словно опустел. Морозов громыхает словами, не торопясь складывает из них фразы, смакует их, поглаживая своим рокочущим баском.

Хорошо читает.

Я стою за кулисой и думаю: не странно ли, что этот Морозов, удрав когда-то из ремеслухи, скитался по городам, воровал, сидел за это, снова скитался, не имея ни крыши, ни этого самого паспорта, о котором сейчас он так вдохновенно рассказывает.

И разве не странно, что зал тих, что все слушают его — Морозова Кольку, воришку, бродягу… И слушаю его я, и Марк, и Петро…

«Я достаю из широких штанин,
Дубликатом бесценного груза…
Читайте!
Завидуйте!
Я — гражданин Советского Союза!»

Снова налетел шквал.

— Да будет вам! Будет! — кричит Морозов. — Другие артисты дожидаются!

Даю сигнал открывать занавес. Зал послушно стихает.

— Соло на немецком аккордеоне! Фокстрот! «Роза-мунда»! Исполняет Павел Стукачев!.. Ну и фамильица у тебя, Паша…

Зал хохочет. Аплодирует выходящему Стукачеву. Его сменяют акробаты: повар лагерной кухни Кузьма и два пацана. За роялем Марк.

Под «Лунный вальс» Кузьма подкидывает то одного, то другого, ловит у самого пола и подбрасывает снова. Вот один вскочил на плечо, второй на другое… «Але!»

Кузьма приседает, начинает медленно садиться, держа обоих…

— Не испорть воздух! — донеслось из зала.

Засмеялись.

— И чего это его на погрузку не гоняют?!

— Заткнись, рожа! Мешаешь!

— Ложись, Кузьма, пупыр летит!!!

На сцену плюхнулась дохлая крыса. Кузьма валится на бок. Пацаны разбегаются за кулисы.

Публика изнывает от смеха.

Кузьма поднимается, поправляет трусы, злобно шевелит скулами и со всей силой поддевает крысу ногой.

Крыса, под вой зала, описывает кривую и падает в дальние ряды.

— Объявляй следующий! Быстро! Быстро! — кричу я ведущему.

Морозов вываливается на сцену, пронзительно свистит.

— Дорогие зрители! Артист не принял вашего букета, и правильно! Скромность украшает человека! А сейчас… Соло на скрипке! Заслуженный, в бывшем, артист республики — Михаил Моисеевич Мазин!

Зал замирает, с любопытством ожидая появления исполнителя.

— Номер он сам объявит… Я два дня заучивал, так и не заучил, — признается Морозов.

И первый аплодирует выходящему из-за кулис Мазину.

Музыкант кланяется залу, трогает смычком струны, подстраивает.

Зал терпеливо ждет.

— Николо Паганини… «Компанелла».

Лицо к инструменту, закрыл глаза и… все полетело тотчас к чертовой матери!

Зазвенела листва… Заметелило тополиным снегом… Кубарем на полянке кузнечики… Цок-цок-цок. Через спинки перекатываются и разлетаются в стороны. Трава легкая, медовая. Перекатываюсь тоже. Пачкаю ромашковой пылью рубашку. Переворачиваюсь на спину, руки раскинул… У-ух! Высотища какая! Небо. В небе птицы. В клювах звезды. Перекидываются

ими. Кричат. Опять кричат слово. Что тогда девушки… И ангел на площади. «И! — слышу последнюю букву. — И! И!» Звезды падают на меня и в траву. Совсем рядом. И гаснут. Вот совсем осталось немного… Вот две… Вот последняя упала. Замерцала, моргнула и погасла.

Ударило в голову шумом.

— Ма-зин! Ма-зин!! — скандирует зал.

Михаил Моисеевич торопливо кланяется и уходит. Марк шепчет мне в ухо:

— Человек сохранил сущность… Схватываешь?

Сзади тормошит меня Морозов.

— Чего выпускать? Может, цыганочку?

Я прихожу в себя.

— Ни в коем случае! Давай «Заветный камень»…

Песня проходит отлично. За песней выхожу я с басней. За мной дуэт гитар пред занавесом, а мы готовим хор — сюрприз майору Сметанину.

Сорок две остриженные головы. Сорок два лица. Я помню их все.

Вот маленькое, ушастое, похожее на мышку, лицо… (В начале войны расклеивал немецкие листовки на дверях сельсовета.)

Рядом с ним — рыжий с красными губами… (Дезертир. Всю войну провалялся в тыловом госпитале под чужим именем, ловко имитируя глухоту.) А этот, во втором ряду, с лицом сельского попика с картины Перова… (Врач-педиатр. Показывал подросткам порнографические открытки. Пойман с поличным…) Вот еще одно лицо — староста хора… (Бывший колхозник белорусского села. Приревновав жену к бухгалтеру колхоза, сжег ее вместе с домом и трехлетним сыном…)

— Выступает хоровой коллектив, — объявляет Морозов. — Руководитель и дирижер — Марк Живило!

Сорок два застыло в положении «смирно». Немигающие глаза испуганно смотрят на открывающийся занавес.

— Песня о Родине! Музыка Новикова!

— «Где найдешь страну на свете, краше Родины моей?..» — рявкнули сорок два рта.

Я вышел в коридор.

Хор пел уже «Соловьи, соловьи», а я курил «козью ножку», сворачивать которые научил меня еще на пересылке Мирошниченко. Интересно, где он сейчас? Возит ли с собой «женщину в ванне»?

Петро зовет меня на сцену.

— Лександрыч, завал! Жарикова нет! Его на этап утром вызвали, а до сих пор найти не могут. Надзиратель меня пытает…

А я что? Я его в глаза не видел… Он, говорю, у нас в концерте должен выступать. После хора как раз… С фокусами…

Только сейчас соображаю, что Жарикова и я не видел сегодня. Обидно. Хороший номер.

— Готовь «политсатиру». Потом цыганочка и антракт.

— Понял! — выкрикивает Петро и исчезает в кулисах. Концерт шел как по маслу.

Лежу на койке. Слушаю последние известия. В зале громыхает ведром Петр. Пищат под полом крысы. Стучу ботинком о половицу. Замолкли.

…«Прослушайте заметку нашего корреспондента из Лондона»…

Кто-то открывает входную дверь. Наверное, Петр выносит мусор… Нет. Разговаривают. Идут сюда. Голос Петра: «Вот балда! Вот — балда!»

Вошел Марк. Лицо, как из гипса. Даже губы белые. Сел на табурет. Замер.

Он принес ужасную новость. Час назад, когда шел концерт, производилась отправка этапа на Север. Из сотни назначенных на этап не явился Жариков. Надзиратели безуспешно прочесали лагерь два раза. Вагоны задерживать нельзя, и этап был отправлен без него.

После концерта публика, естественно, ринулась в уборные и в одной из них…

Это огромные глубокие ямы, покрытые досками. В досках отверстия. Над всем этим — навес от дождя. Яма, глубиной не меньше трех метров, заполняется за зиму почти доверху.

Несчастный рассчитывал переждать отправку на этап под досками, но не учел своих сил, не удержался за поперечные брусья. Свалился. Кричать нельзя: кругом ищут надзиратели.

Зловонная жижа разъела тело, как крепкая кислота.

Санчасть помочь уже не могла. Жариков стонал не долго. Сознание покинуло его. А затем и сам Жариков отбыл на самый дальний из всех этапов…

Мы просидели всю ночь.

Каждые полчаса я бил ботинком в пол. До чего же они противно пищат!

На другой день в клуб впервые нанес визит Рокоссовский.

— Привет, контра! Еще не повесился?

Шумно расхаживает по комнате, подкидывает в руках тряпочный сверток.

— Ты этого, как его… скрипача увидишь? Ну, что вчера…

Отдай ему бахилы… — Бросает сверток на койку. — Один… жмут.

Вечером я передал штиблеты Мазину. Он долго смотрел непонимающе, потом начал мне стыдливо объяснять:

— Я никогда не играл в карты, понимаете? Никогда. Он насильно дал мне какие-то семерки, валеты и, понимаете, выиграл эту обувь. Тут же надел их и мне оставил вот это… — (Показывает на ноги.) — Очень крепкие, прекрасные туфли. Какой странный молодой человек этот Рокоссовский. Вы передайте ему, будьте любезны, — эти… Это же его… Понимаете?

ЛИСТ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

Женской проблемы не было, ибо не было женщин. Лишь изредка взрывал лагерь истошно-радостный крик. Так кричал матрос Колумбовой каравеллы, увидев берег. «Земля!!!» — кричал он, заливаясь слезами.

— Ведут!!! — кричал здесь какой-нибудь счастливчик, взобравшись на крышу юрты.

Вскакивала на ноги пятитысячная масса. Отложили недописанные письма, отбросили книги, прервали карточные игры и сны…

— Веду-у-ут!!! — несется из юрты в юрту.

И все туда — к проволоке, за которой дорога… и…

Длинная колонна ватных брюк, бушлатов, шапок-ушанок…

Все то же, как и у нас… Но… Там были глаза и волосы, там были губы, была кожа… Под ватным бушлатом грудь, истомившаяся без ласки… Она хочет, чтобы глядели на нее, трогали. Хочет разбухнуть от сладкого молока и поить им досыта чмокающий ротик…

— Мальчики-и-и!!! — несется зов.

— Милые-е-е!!!

— Костя, я тебе платок послала-а-а! — вырывается вопль.

— Через Вальку пиши! Через Вальку, слышишь?!! — напоминает кто-то с нашей стороны.

— Ой, дяденьки, в постельку хочу!!! — визжит на всю тайгу пацанка в белых бурках; прыгает, бьет рукавицами по ляжкам.

Лагерь глухо рычит в ответ, посылая голосом Рокоссовского:

— Е-гей! Бабоньки!!! Сегодня спите голышком, приволокусь с дружком!!

Конвой торопит колонну. Можно расходиться по юртам. В такие дни лагерь засыпает позже обычного…

Непосредственно в зоне лагеря работали три женщины.

Клава — вольнонаемная — ведала посылками. Она привозила их с вокзальной почты на телеге ежедневно и в присутствии двух надзирателей вскрывала ящики. Содержимое;; после осмотра, выдавалось заключенному, в чем он и расписывался в соответствующем регистре.

Вторая женщина — Элеонора Юлиановна — главный терапевт санчасти, шестидесятилетняя старуха с массой бородавок на подбородке. Каждая из них оканчивается кисточкой седых волос.

Разговор она ведет со всеми только на ты и в таком тоне,

будто пациент только что разбил ее очки, выстрелив из рогатки.

— Что расселся?! — скрипит она злобно и таращит рачьи глаза. — Шагай сюда… Подними рубаху!

Шлепает по спине костлявой рукой. Прикладывает фонендоскоп.

— Тридцать семь и четыре, — напоминает пациент, используя очередной выдох.

— Закрой рот! — обрывает она. — Наболтал на десять лет — теперь помалкивай!

Профессор языкознания — Богин, ее ровесник, сутулится еще больше и прекращает дышать.

— С такими легкими на кладбище лежать, — скрипит старуха, заканчивая прослушивание. — А он против власти… Не совестно?

— Я ее строил, Элеонора Юлиановна, — со слезами на глазах говорит профессор. — Я участник плана разгрома Юденича.

— Все вы «участники», — терапевт скрипит пером в карточке, угрожающе шевеля кисточками на подбородке.

— Три дня из юрты не выходить! — тоном приказа объявляет она, протягивая освобождение от работы. — Увижу на территории, берегись!

И таращит глаза, наслаждаясь произведенным эффектом. Лицо на мгновение становится добрым и милым. А кисточки эти… Божественные кисточки! Ими так хорошо пугать непослушных внучат…

Чудная старуха. Ее любили все, потому что она любила всех, хотя и искусно прятала эту любовь.

Но разве любовь спрячешь?

И третья — Александра Ивановна Цыкина. Гражданин лейтенант. Инспектор спецчасти лагеря. Сорокалетняя женщина, высохшая до неправдоподобия.

Прозвище «Скелет» лейтенант имела не только в связи с худобой. Она ведала «зачетами», что были днями свободы, заработанными трудом, болезнями и бессонницей. Она ведала и отправкой на этап, а этапы бывали разные… Это могла быть Печора. И Дальний Восток. И Север.

Скелета боялись смертельно.

Увидя ее издали, здоровались, унизительно заглядывая в глаза, выражая предельное уважение порядку и безграничную любовь к производительности труда.

Она не видела никого.

Шерстяной костюм, хаки, сшитый по фигуре. Талия перетянута узким ремнем. Мягкие сапожки. Накинутая на плечи серая шинель.

В костях лица прятались от всех неуютные глаза, постоянно будто вспоминающие что-то. Рот ничего не выражал, даже когда произносились слова. Он был мертв. И слой темно-розовой помады не оживлял его, скорей — наоборот: делал его искусственным. Нарисованный рот на безжизненной маске лица.

Регулярно, через день, она брала книги из библиотеки. Я не знаю, что она прочла до меня, так как формуляра, естественно, на нее не велось.

Первая книга, выданная мной, была «Степан Разин». Через день она поменяла «Разина» на «Ермака».

Когда она пришла в третий раз, я предложил ей «Крестоносцев». Оказалось, что она читала их. Взяв «Пугачева», она удалилась.

По субботам инспектор смотрела кинофильмы. Это не удивительно: в ту пору в Ангарске еще не было кинотеатра и, как это ни парадоксально, киноустановки существовали только в лагерных клубах.

Лейтенант входила в клуб за минуту до начала сеанса. Заполненный до отказа бурлящий зал мгновенно стихал. Она садилась в середине прохода на поставленный для нее стул, и сеанс начинался.

Александра Ивановна заговорила со мной первой.

— Живило назначен на этап.

Она стоит между стеллажами. Листает Ключевского. Я впервые слышу от нее такую длинную фразу. Обычно: «да», «нет», изредка — «спасибо».

От неожиданности забываю об осторожности.

— Неужели нельзя оставить?

Качнула головой отрицательно.

Рискую вторично. (Ведь это Марк! Несчастный Марк!)

— У него чахотка, он умрет в дороге…

Она взяла книгу, проходит мимо. Проход между стеллажами узкий, она задевает меня юбкой и запахом жасмина…

Повторяю, глядя в удаляющийся затылок:

— Он умрет, гражданин лейтенант…

— Не хнычьте, — отвечает она, не останавливаясь и не поворачивая головы. — Это сельхозколония. Ему там будет лучше.

Ушла.

Марка не будет. Не будет по вечерам Марка. Его шуток, писем его матери, не будет споров…

Впервые за много месяцев подкатился и застрял в горле комок слез.

Он разбудил меня рано утром.

— Лорд — хранитель печати! Вставайте! Как почивали музы? Как переносят неволю классики? Ты что? Ты глядишь на меня, как поезд на Анну Каренину перед тем, как…

Он мрачнеет вдруг, садится на койку рядом со мной.

— Что-нибудь случилось?

Неужели он еще не знает? Почему не объявили об этом?

Это же делают утром, перед выходом на работу!

— Ты назначен на этап, Марк…

— Какой ты скучный… А я хотел сделать тебе сюрприз… — Он вынул монету. — Я давно не кидал ее… А вчера от тебя пришел… Думаю, не сменить ли мне климат? «Непременно»! — ответил драхм. Ночью собрал вещи. Жду рассвета. «Живило, живей! С вещами!» Не очень, правда, вежливо, но не будем придираться к форме…

— Марк, это — сельхозколония. Это действительно лучше. Там воздух, овощи, морковка…

— Морковка, Витька! Я люблю ее с детства! Маман ежедневно делала мне пюре… Ты любишь пюре из моркови?

Я прячу от него глаза. Вожусь у печки. Разжигаю газетой сырые щепки.

— Сейчас, Марк, будет чай. У меня есть сахар, хлеб.

Через час мы прощались.

Этап был в сборе. Уже начали выкликать по формулярам и выводить за ворота к машинам.

— Учи Маяковского. Наизусть. Я тебе серьезно говорю. Это — силища! Подъемный кран для души. И вот еще. Держи, — хватает руку, вкладывает в ладонь монету. — У меня есть другое. А она пусть с тобой… По пустякам не тревожь ее. Сам понимаешь…

Я не успеваю отреагировать. Не успеваю даже поблагодарить его.

— Живило!

— Есть такой! — задорно откликается Марк.

Мы стукаемся головами, пытаясь поцеловаться.

— Будешь в Москве — забегай!

Это была последняя фраза Марка.

Машины давно ушли.

Давно закрыли ворота.

Я стою в пяти метрах от свободы. Один.

Опять один.

Ее не было дней пять.

Вошла. Положила на стол Ключевского. Уселась рядом, листает журнал. Петро, прервав уборку, испуганно удалился.

Рассматриваю ее с тем любопытством, с каким рассматривают саперы обнаруженную мину. «Мина» в полметре от меня.

Начищенные до золотого блеска пуговицы гимнастерки… Ослепительно белый подворотничок… Плоская грудь… Прижатые уши… Проколы для серег… (Целовал ли кто-нибудь ее?) Чтобы изгнать из себя это, произношу:

— Вы болели?

Она лениво поворачивает голову.

— Вас давно не было, — говорю я менее фальшиво, выдерживая ее долгий и, как мне кажется, бессмысленный взгляд.

— Работа.

Это слово я скорее услышал, чем увидел, что это слово сказали ее чуть дрогнувшие губы.

— Да… — протягиваю я, вложив в это «да» некоторое понимание сложности ее работы.

— …хлеб горький, — закончил я возникшую мысль и встал.

Убрал на место Ключевского. Подшил свежие газеты. Закурил.

Она все сидела. Страшная, почти смертельная, по своей силе, ненавистная всеми и одинокая среди этой ненависти.

Она ушла, не взяв никакой книги.

Майор Сметанин, прочтя мою пьесу, сказал:

— Разрешаю приступить к репетициям. К ноябрьским праздникам покажем. Может, в соседние лагеря вывезем — попробую договориться в Управлении.

Пьесу «В городе будет спокойно» я начал писать еще при Марке. Он подкинул несколько острых коллизий, и в окончательной редакции пьеса приняла вид драматического детектива в семи картинах на двенадцать действующих лиц мужского пола.

Место действия — химический завод в городе, время действия: 1944 год. Тема: бдительность советских людей.

Во второй картине — один труп, в третьей — второй и один тяжелораненый, в пятой — взрыв лаборатории, но без трупов, в финале — сплошное разоблачение и аресты под занавес.

По эскизам Живило приступили к изготовлению декораций. Майор выхлопотал чрезвычайное разрешение «на ношение волос не более пяти сантиметров» для участников спектакля. Работа закипела.

Пьеса держалась на одном персонаже — капитане-контрразведчике — Павле Киселеве. Эту сложнейшую психологическую роль мог сыграть только один человек — Рокоссовский.

На розыски «актера» был послан Петро. Ему тоже была обещана роль «уборщика цеха». У персонажа только одна фраза: «Говорят из цеха… здесь произошло…» После чего персонаж выпускает из рук телефонную трубку и умирает. Петро уже выучил текст роли и критически поглядывал на других, с которыми я возился допоздна.

Посланный на розыск Женьки вернулся ни с чем.

— Не найти, Лександрыч. Аж в изолятор заглядывал. В бригаде не ночует…

Отыскали Женьку только на третий день.

Узнав, чего от него хотят, Женька чуть не побил посланца, а «театр погоревших актеров» послал так далеко, что Петро, как ни старался, не смог повторить мне витиеватого адреса…

На встречу пошел я.

В одной из крайних юрт в махорочной мгле лежал единственный кандидат на главную роль. Кандидат был невменяем. Накурившись «плана» (наркотик, довольно распространенный тогда в лагерях), Женька нес такую ахинею, что переговоры пришлось отложить. Я оставил записку и удалился.

Наконец наступил решающий момент. Рокоссовский сидит напротив меня. Я читаю пьесу. Он бурно реагирует на каждый

сюжетный поворот, удивляется, что не предвидел его, материт шпионов и диверсантов и сдержанно хвалит монологи главного героя.

— Ну, как? — спрашиваю его, закрыв «занавес» после седьмой картины.

— Удивляюсь на род людской! Ох, и удивляюсь! Проволокой их запутывают, собаками облаивают, похлебкой свинячей кормят… А они пишут, они в театр играют! И все за власть!

— А чему ты, собственно, удивляешься?

— Ваньки-встаньки все вы. Вас кладут, а вы — торчком! Вас кладут, а вы по новой!

— Радоваться надо…

Женька протягивает мне недокуренную папиросу.

— Чему радоваться?

— Способности вставать на ноги.

— Ноги не только для этого, — скороговоркой возразил он.

Прошел по комнате взад-вперед, остановился у дверей, прислушался. Смотрит исподлобья, кидает слова свинцовые, опасные, приглядываясь, как их воспринимаю.

— Стоять и на сломанных можно… Ноги для того, чтобы бегать.

Помню, сработало сильное что-то, соскочило со звоном под сердцем. Не слова донесли его мысль — я читал ее в Женькиных глазах. Она звала на улицы, где дома с освещенными окнами. Я слышал шум города… Слышал запах воды… Запах Невы… И слово… То слово! Я читал его на цветных бумажках и радовался, что, наконец, читаю его. Я слышал, что кричат девчонки… И ангел на площади…

Женька спрашивает меня что-то. Я не понимаю его. Я улыбаюсь. Я вижу себя улыбающимся. Мне легко и сладостно от всего.

— Женя, — услышал я свой голос и повторил снова, так как голос был сейчас особенный. Голос пел слова. Красиво, мелодично.

— Женя… Ты знаешь, как сейчас красиво на Неве. Ты никогда не был на Неве, бедняга… А я там бегал мальчишкой. Кидал желтые листья… А в Летнем саду боги, Женя! Мраморные… Я вижу белый мрамор молчаливых лиц — античной мифологии созданье. — Прикрыл глаза руками, а губы сами зашептали дальше, без принуждения: — Слышна рапсодия весенних птиц и невских волн блудливое шептанье… Слышишь, Женя? Это я сейчас сочинил…

— Поволокло тебя, — хвалит Женька.

Слова понимаю, а фразу целиком нет. Мешают картины

яркие, шумные. Они лезут в голову, разворачиваются панорамой, сворачиваются, открывают новые. Как хорошо! До чего же хорошо, что я живу! Что я…

— Женька, давай сбежим. Я видел сон… Я не буду его рассказывать… Но там ангел кричал: «Беги!», и все кричали. Я только сейчас понял…

— Еще хочешь? — прерывает он.

Я не понимаю его, но это не раздражает меня. Я продолжаю говорить, так как хочу говорить, говорить, говорить.

— Ты слушай, Женя, я все сделаю сам. Я знаю, как это сделать… Я, честное слово, об этом не думал… Но, понимаешь, Женя, внутри меня кто-то все это время сидел… смотрел… высчитывал… думал… Я тебе все объясню. Это очень просто. И совершенно безопасно…

— Только тихо.

— Что?

— Тихо болтай, говорю…

(Глазами показывает на дверь.)

— На… хватани еще…

Слюнявит там, где табак. Протягивает папиросу. Соображаю наконец, что со мной. Мгновенно все сжалось внутри в трусливый комок.

— «План»?

Женька смеется.

— А ты хорош… Помнишь, что говорил-то хоть?

— Помню.

— А стихи?

Я мотаю отяжелевшей сразу головой. Захотелось пить и есть. Дьявольски захотелось жрать. Открыл тумбочку. Миска с холодной кашей. Вынимаю руками застывший студнем блестящий диск. Жадно глотаю, не чувствуя вкуса. Боже, как хочется есть…

— Плебей, — издевается Женька. — Стихи животом сочинил? Не заглоти миску! А то будешь по пуп алюминиевый!

Не обращаю внимания. Доедаю остатки и смотрю с тоской на идеальную чистоту пустой миски.

— Не закрывай засовы, плебей… Приволоку покушать.

Дверь за Женькой закрылась, и сразу наступила гнетущая пустота. Силюсь изменить состояние. Нет, ничего не могу сделать. Патологическое чувство голода — и только. Такого не было даже в блокаду. Грызет и воет забравшееся в кишки животное. Скулит надрывно. По-волчьи… Какая гадость!

Заливаю волка теплой водой из графина. Приумолк чуть. Еще пью… Молчит сволочь…

Очнулся от громыхания котелка.

— Смотри, что по ночам варят! Паскуды…

Котелок доверху набит горячим мясом. Кое-где прилипли крупинки пшена. От всего этого валит такой пар, что выступили слезы, а слюни мешают сказать даже человеческое «спасибо».

Волк вырвался наружу…

Женька образно рассказывает о побоище на кухне, учиненном им только что. Слушаю его невнимательно, поэтому не удивительно, что только в конце трапезы до меня доходит главное: я съел килограмма полтора кобылятины.

На объекте работ под ковш экскаватора попала лошадь. Скорее всего, ее подсунули туда. После составления акта о смерти, лошадку разнесли по юртам.

Конец истории уже слушать трудно — мертвецки хочется спать. Женька, захватив пьесу с собой, уходит.

— Про ангела ты мне в другой раз доскажешь… Если не повесишься…

Как свою да мила-ю
Из могилы выра-ю!
Выраю — обмою,
Пересплю — заро-ю!..

У Петро хороший тонус: привезли новые швабры. Он с утра моет полы в зале и горланит частушки собственного сочинения.

— Слышь, Лександрыч! Выношу воду сейчас, а по зоне Скелет канает. Без сапог. Потеха! Ноги белые, тонкие… Во!.. — Показывает палку у швабры. — Тюк-тюк! Тюк-тюк!

Дневальный «тюкает» по проходу, показывая, как ходит инспектор спецчасти. По пути сгоняет волну грязи к одному из боковых выходов.

В прямоугольнике открытых настежь дверей — тонконогая фигура. Петро почти натыкается на нее. Я все вижу со сцены, но не успеваю предупредить. Он замирает. Неестественно кланяется ей и скрывается за углом.

— Чем занимаемся?

Она идет по центральному проходу. Ноги белые-белые. И тонкие. Петро прав. Зачем она надела баретки? В сапогах это не так заметно.

— Это к спектаклю, гражданин лейтенант. Декорация.

Продолжаю махать флейцем, закрашивая «уличный столб» ко второй картине.

— Я слышала, сами написали?

— Мужской состав, — улыбаюсь я. — Такое драматурги еще не писали.

— Почитать дадите?

— Пожалуйста, только… У меня сейчас нет. Экземпляр единственный. Я дал участнику переписать роль. Разрешите занести вам завтра?

— Я зайду сама.

Вечером я снова «подкурил» с Женькой. Немного. Две маленькие затяжки.

Репетиция шла отлично. Сцена «допроса» из первой картины далась Женьке сразу. Его память уже схватила весь текст, и мне пришлось повозиться лишь с его партнером, Федором Николаевичем.

Профессиональный актер из Новосибирска почему-то волновался, испуганно пялил глаза на Рокоссовского и бубнил текст, будто хотел поскорее избавиться от своих слов.

Кончили около десяти. Я отпустил участников спать. Ушел и Петр, заварив последнюю кружку цейлонского.

Мы остались вдвоем.

— Сегодня я жрать не буду! — пообещал я весело. — Я понял смысл этой отравы! Надо управлять процессом! Управлять!

Я затянулся еще раз отнятой у Женьки папиросой и перешел на шепот.

— Значит, так… Как вам известно, Рокоссовский, на промплощадку приходят вагоны с цементом. Пульманы…

Беру карандаш. Вырываю из тетради лист.

— Двенадцать метров длины и два восемьдесят ширины. Мы напиливаем двадцать четыре рейки… В ширину вагона… Снимаем у каждой фасочки… вот так… Когда мы сложим их впритык, они образуют нам лобовую фальшивую стенку. Красим их в грязно-коричневый и сшиваем на два ремня… Здесь… С обратной стороны. Сворачиваем, как штору, и прячем до момента… Вагоны пришли. Их выгрузили. Мы затаскиваем это в вагон… Один держит эту декорацию… Другой вбивает два гвоздя. Вся стенка висит на ремнях. Нужно всего двадцать пять сантиметров, чтобы только стоять за ней… При длине двенадцать метров заметить недостающие сантиметры невозможно…

— А если залезут в вагон?

— Исключено. Я видел не раз. Чисто машинально глядел, как выпускают порожняк. Смотрят под вагон и на миг… Соображаешь?! На миг заглядывают в открытые двери. Вагон пуст! Смотреть не на что. Человек же в заклепку превратиться не может!

Рокоссовский обдумывал не долго. Он взял рисунок, сжег его на спичке. Потом грохнул кулаком по столу.

— Даешь Москву!! Дойду до Сталина! Лично! — Еще удар по

столу. — Пойду чистить фраеров!

Вынул новенькую колоду самодельных карт, потасовал несколько мгновений, спросил:

— Ты веришь во что?

Я пожелал покорить его до конца. Достал монету Марка. Вертанул ее под потолок и прихлопнул ладонью, не дав ей задребезжать на столе.

— Я спрашиваю: будет ли нам хорошо от того, что мы хотим сделать?.. — Выдержал паузу. — «Да» или «нет»?!

Отдернул ладонь.

Драхм ответил: «Да».

Александре Ивановне пьеса не понравилась.

Возвращая рукопись, инспектор скривила рот, и я услышал:

— Дешевка…

Я пожал плечами.

— В жизни мало сильных людей, — продолжила она. — А в книжках слишком много.

Щелкнул портсигар. (Я не видел, чтобы она курила.)

Я зажег спичку.

— Спасибо.

Протягивает портсигар.

— Спасибо.

Смотрю вниз, на пол… Коричневые баретки с ажурным накладным язычком. Жесткая мышца ноги. Острые коленки…

— И в жизни, и в книгах много сильных людей, — выдавила из меня эта проклятая коленка.

Я услышал, а когда поднял глаза, и увидел, как он смеется. Скелет смеялся носом… Посапывал коротко, отрывисто, как при насморке.

На смехе разговор и закончился. Но в течение многих дней мне мешало, злило что-то, не давало покоя. Это «что-то» было очень похоже на стыд. Будто получил пощечину, на которую не ответил ничем.

Она заходила через день, брала книги, возвращала их, но разговора больше не возникало, отчего мерзкое состояние униженности разрасталось и готовилось выплеснуться.

Подготовка к побегу не нарушила текущих дел. Днем мазались декорации. Вечером репетировали.

В один из дней на стол майора Сметанина «лег» на подпись эскиз: «стенка коридора» для пятой картины. Это была наша стенка, ее размеры, ее цвет и фасочки. Ее будет делать цех. Нам останется только получить готовое.

По ночам Евгений безбожно обыгрывал лагерь. Деньги, одежда, обувь, часы, кольца, золотые коронки… Чего только он не приносил в клуб!

Деньги прятались в ломаный саксофон. Все остальное, при помощи Петро, сбывалось за зону через бесконвойных, которые на этом, естественно, неплохо зарабатывали.

Медленно отрастали волосы.

По нескольку раз на день я вертел голову перед зеркалом. У Женьки, повторяю, на голове был сущий клад. Я же был похож на сбежавшего из холерного барака.

И еще мы ждали зимы.

Зима не сезон для побегов, но именно поэтому она и была нам нужна.

Вечер. Помню дату, потому что выводил ее пером в этот вечер: «28 октября 1949 года».

Мы, как и обычно, засиделись допоздна. Надзиратели, привыкшие к нашему бдению, при обходе уважительно напомнили:

— Спать, артисты, спать…

Но спать не хотелось. В тысячный раз мы проверяли свою готовность. Обсуждали детали. Спорили из-за мелочей.

Неожиданно, вроде бы исподтишка, всплыло в разговоре имя Александры Ивановны.

Женька сидит на койке. Тихо бренчит по гитарным струнам.

— Женщина — б…, пока она не мать, — резюмирует он.

— Есть и исключения.

— Исключений не знаю. Ты не о Скелете?

— И в мыслях не было, — соврал я.

— Да?

Женька дернул первую струну. Она взвизгнула и долго прятала свой голос в тишине клубных стен.

— Что «да»?

Он «зарядил» папироску, раскурил, передал мне и, откинувшись на подушку, произнес:

— Лиса и Виноград.

— «Косточки от винограда» ты хотел сказать…

— Пусть «косточки», но не по зубам!

— Эту не трудно проверить…

(Белые, сухие коленки… Девчоночьи… Такие коленки были у Люськиной сестренки…)

В руке монета. Я перекатываю ее между пальцами, как это делал Марк.

Монета натягивала и без того натянутое до отказа, она

толкала падающее, она была чуть порочнее нас и не была умнее.

— Она ляжет на эту койку!.. — (Меня трясло!) — Она ляжет на эту койку! — упрямо повторяю я, глядя на трясущиеся руки.

— Повело…

— Я абсолютно нормален! Потому я ее и хочу, что нормален! Как я не понял этого раньше! Кретин!

Меня действительно «повело». Я тряс монету. Ходил вокруг стола, пытаясь почувствовать свое место, повторяя бессчетный раз «кретин» и вспоминал Марка.

— Кончай, Витька! — крикнул Рокоссовский.

Но было поздно. Монета брякнулась на стол, завертелась. Я шлепнул ее ладонью и затих. Слышу дыхание Женьки. Непривычно звонко булькает пульс в руке. В той, под которой…

— Да или нет? — спрашиваю одними губами и отдергиваю руку.

Драхм одобрял безумство.

— Бумагу! — потребовал я у самого себя и ответил: — Несу, Лександрыч!

Схватил тетрадь… Тут же бросил ее в угол.

— Не то! Нужна грубая оберточная бумага! Только глупцы пишут женщине на листочке с типографской розочкой в уголке! Вот! — Разглаживаю бывший кулек из чьей-то посылки.

— Письмо должно быть длинным. На них действует не мысль, а сам процесс чтения!

«Вы тонете в море людской ненависти. Я вас люблю за то, что вас ненавидят. Мне не нужно сейчас ничего, кроме вас. Свободы я не жду. Что в ней? Разве я встречу там схожее? Да и во мне — возникнет такое? Никогда!

Полужелание мы выдаем за бурю страсти, ленивую ласку за безумный порыв… Лжем постоянно от слабости чувств и от отсутствия напряжения. Лжем себе и тем, с кем ложимся в постель…»

Слова текли, затопляя бумагу, а за ними, толкаясь, давя друг на друга, наплывали еще и еще…

«Я не боюсь вас, ибо люблю вас… Вы поняли, признайтесь, что я не раз раздевал вас, чтобы увидеть то, что не видит никто.

Вы страдаете больше, чем страдаю я. Эти страдания в бледности кожи, лишенной ласки. В вашей груди, которая трется лишь о грубое сукно шинели… Людская желчь выела голубизну ваших глаз, обесцветила губы, разучила улыбаться и плакать…»

— Читай вслух, — клянчит Женька.

Я только отмахнулся от него.

«Кто разберется сейчас: кто виноват, кто — нет? Сейчас —

никто! Потом — может быть… Не скоро… А сейчас?! Надо дышать сегодня, надо глядеть сегодня, любить сегодня! Гнать и гнать кровь, петь гимны и целовать, целовать до усталости. Отдать то, что не принадлежит никому, что отгорожено запретной зоной, что в холоде односпальной постели взывает стоном мокрых губ…

Шура/

Не рви письма! Не стреляй в свое женское в упор! Я все равно вижу тебя такой, какой ты бываешь одна, когда нет меди пуговиц. Нет ремня, что телячьей кожей перехватил заблудшую душу. Ты заблудилась, как и я… Я вышел не на ту дорогу: ты — мечешься по бездорожью.

Я зову тебя, потому что одинок. Наши одиночества уже сплелись, мы — еще нет. Я слышу звук твоих шагов. Они за стеной… Они близко… Шура!..»

Подумал и поставил еще два восклицательных знака.

«Шура!!! Завтра, после второго сеанса, в клубе…»

Поставил дату. Подпись.

Оглядываюсь. За спиной Женька.

— Тебя отправят на Север, — ответил он на мой вопросительный взгляд.

— В вопросах пола, Женя, ты не дотягиваешь.

Запечатываю конверт. Пишу на нем:

«Инспектору спецчасти Цыкиной А. И.».

Мы вышли из клуба.

В небо будто ткнули толченое стекло и подсветили несильно. Под ногами с противным хрупаньем ломались мерзлые лужи.

Мы подошли к штабному бараку. У входа ящик. «Для жалоб и заявлений».

— Загремишь на этап, — буркнул в последний раз Женька.

— Если так, то монета — пустое… Ты же понимаешь, Женя… Надо же на чем-то проверить монету.

Женька отвернулся. Он не мог смотреть, как я засовывал разбухший конверт в щель ящика.

«МАШЕНЬКА»

начало в 18 и 20 часов

Фильм я видел не раз, потому, покончив с выдачей книг, брожу по комнате. Примерил рубашку, приготовленную к побегу. Ворот тесен и в плечах тоже… Но зато — белая, шелк-полотно.

Днем несколько раз приходила мысль открыть ящик и изъять письмо. Один раз прошел мимо. Можно было бы оторвать ящик и сбросить в яму ближайшей уборной. Но мне мешал это сделать Марк. Он кашлял где-то рядом за моей спиной и говорил отчетливо: «Создавай новые условия и познавай себя в них. Остальное не имеет цены».

Женька угощает спиртом (пронес через вахту совершенно открыто в бутылочке из-под чернил). Руки в чернилах. Пузырек в чернилах… Снаружи. А внутри чисто. Там спирт.

Ударило. Запело все. Стало тепло и весело.

Шел второй сеанс.

Женька, не дождавшись конца сеанса, ушел.

— Пойду, картишками побалуюсь…

«Переживает», — отметил я и еще отметил, что во мне не осталось ничего от того, что было днем. (Ящик вскрывают утром… Если бы «что-нибудь», то это «что-нибудь» последовало бы днем.)

Я насвистывал какой-то мотив.

Хлопнулись заслонки в окошках проекционной будки. Зажужжало. Это Петро перематывает ленту…

Я выключил общий свет в зале. Осталась на сцене одна дежурная лампочка.

Запер дверь… вторую… третью… Четвертую, самую близкую к сцене, оставил полуоткрытой.

Метелит. В щель намело длинный белый язык.

Стою у портала сцены. Жду. Курю до горечи. Жду. Холод долетает до меня через зал.

Жду.

Она вошла и потянула за собой дверь.

— Шура… — вырвалось гортанное и громкое, усиленное пустым холодным залом.

— Шура… — я шел по скамейкам навстречу щели, сквозь которую швырялся снегом обезумевший ветер.

Толкаю задвижку, уже успевшую обледенеть.

— Идем.

Она отстранилась чуть, но тут же я поднял и понес ее, легкую, почти невесомую, пахнущую морозом и жасмином.

Я нес ее мимо пустых рядов, мимо кулис и недокрашенных декораций…

Ногой толкнул дверь и осторожно, как тяжелораненую, опустил на койку.

Помню, мешали холодные пуговицы. Я отрывал их зубами и

сплевывал в угол.

Помню мятую обвислую грудь и твердые, как пробки, соски…

— Достань портсигар.

Я нащупал его в упавшей на пол шинели.

— Спасибо.

Долго молча курим.

Она сидит, обхватив колени. Изредка протягивает руку, чтобы стряхнуть пепел.

— Что ты хочешь? Говори, что ты хочешь? Я сделаю.

Я молчу.

— Хочешь, я переведу тебя в сельхоз? К твоему Живило… Хочешь?

— Не надо.

— Почему?

— Я хочу быть здесь… С тобой…

Бросила окурок. Вцепилась в губы.

Рассматривает порванный лифчик.

— Оставь его мне.

— Зачем?

— Оставь.

— Сумасшедший…

Бросает лифчик под койку. Вцепилась в губы.

Стоим в полутьме зала.

Черт бы побрал задвижку! Примерзла. Расшатываю ее дверью.

— Шура… — шепчу последний раз, грея лицо в теплом жасмине. Вырвалась. Ушла.

Метель в морду.

Ночь в морду.

ЛИСТ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ

Дату эту помню наравне с датой рождения: 11 декабря 1949 года.

С утра побрил-ся
И галстук но-вый
В горошек си-ний
Я на-дел… —

само слетает с языка.

Зализываю перед зеркалом волосы. Косой пробор. Очень даже идет. Галстук (цвет ржавого железа с синей полосой). Шуршит рубашка (шелкполотно). Вельветовый пиджак — бывшая собственность моего бригадира (Женька за десять минут выиграл ее в «буру»). Темно-синие бриджи английского производства заправлены в новенькие черные валенки военного образца. Шапка из оленьего меха. Безрукавка-самоделка на меху. Демисезонное полупальто (светлый беж).

На всем этом — огромный грязный лагерный бушлат: иначе за зону не выпустят.

Деньги поделены вчера (по четыре тысячи). Вчера же Женька принес снотворное. Произнес театрально:

— Побеждает тот, кто перед боем спит…

Утро тихое, морозное, солнечное.

В десятом часу мы встретились в условленном месте. Вагоны еще разгружали.

Женька угощает цветным драже.

— Если боишься — оставайся. Уеду один.

— Обнаглел ты, Рокоссовский. Мне не трудно передумать и оставить здесь тебя.

Рассмеялись.

— Хлебнешь?

Достал из-за пазухи флягу. Я глотнул дважды и задохнулся спиртом.

— Пошли!

Пересекаем большое корявое поле, заваленное щебнем и бутовым камнем.

Не останавливаясь, прошли мимо сугроба, где ожидает своего часа готовая «стенка». Женька месяц назад получил ее в цехе и запрятал здесь, тщательно проверив размеры.

— Зайдем в столярку. Шлепнем ножовку на всякий случай.

— Зайдем, Женя, зайдем. Меня беспокоит другое: если вагон окажется чуть шире… Ты представляешь? Хотя бы на один-два сантиметра…

— Заклиним рейкой.

— Значит, надо еще и рейку.

Из цеха вышли прямо к котловану. У Женьки под бушлатом ножовка, у меня в кармане молоток и гвозди.

В котловане копошатся люди. Ставят опалубку. Арматуру. Принимают бетон.

— Эй, артист, по тебе тут тачка плачет!

Это моя бригада. Подходим к костру. У огня бригадир и Шпала. Здороваемся.

— Киданем? — предлагает вор, вынимая карты. — Бурочки мне личат. Какой размер?

— Жать будут, — дружелюбно отказывается Женька. Шпала не унимается.

— Воров не уважаешь… Брезгуешь, что ль?

— Отвали, — огрызается Рокоссовский. — Хочешь играть бурки, приходи. Юрту мою знаешь.

— Брезгуешь, — куражится Шпала.

— Пойдем? — вставляю я, предчувствуя конфликт.

— До вечера-то бурочки замажешь, маршал…

Женька отвечает ему одним словом, присел на корточки, подставил руки к самому огню. Греет. Шпала поднялся. Постоянная бессмысленная улыбка вдруг исчезла.

— Я чего-то вроде бы не понял, — спрашивает он у бригадира. — Вроде бы что-то эта сучка сказала?

— Педер, — громко ответил Рокоссовский. — Педер! Слышно теперь?

Искрами взорвался костер. Пыхнула желтым пламенем Женькина шапка… Молоток! Бью со всей силой по тощей спине. Еще раз наотмашь… Шпала осел в снег. Сильно толкают… Это — Женька. Бушлат дымит… Шапки нет… Лица нет… Только белые глаза на угольной маске. Поднял скрюченного от боли Шпалу и в гудящий жар…

— Братцы!! — вопит бригадир. — Воров жгут!!!

Женька глушит его доской. Доска длинная, он сгоряча задевает меня (адская боль в локте). Бьет вылезающего из костра Шпалу… По спине, по рукам… Шпала скачет лягушкой. Крутанулся на спину и в снег. Сбил огонь с себя. Подпрыгнул всем телом и понесся зигзагом по снежной целине.

— Эй, педер! Приходи бурки играть!!!

Женька хохочет осатанело. Зачем-то еще раз огрел лежащего

без сознания бригадира и бросил доску в костер.

— Хмыри! — кричит он бригаде. — Пока бригадир спит — погрейте ляжки!!!

Бросили тачки. Идут. Перешагивают через лежащего. Окружили кольцом огонь. Протянули руки.

Женька вынул «Казбек». Закурил. Остальное роздал: один черт, все сломаны.

— Гляньте, что с ним, — распоряжается Рокоссовский. Неохотно отступили от огня двое. Нагнулись над бригадиром.

— Пыхтит…

— Кинь шапку!

Содрали с лежащего, кинули.

Женька напяливает черную кожаную шапку.

— В самый раз… Ну, хмыри, наваливайте больше — катайте дальше!

Двигаемся в обход котлована. Отсюда видны вагоны и ползущее от них по полю серое облако: там еще разгружали цемент.

— Ко-о-стро-ов!!!

Нас догонял человек.

Это оказался культорг бригады, заступивший на должность после меня. Он принес мне письмо.

От тети.

Мы зашли в ближайшую «инструменталку».

С большим трудом, строчку за строчкой, расшифровываю я старческие каракули своего единственного родственника.

«Здравствуй, ненаглядный мой племянничек. Получила я письмо твое и вконец заслепла от слез горючих. Что же это на белом свете делается-то? Али с голоду украл чего? Господи, да усохнут руки у него, коли так. Ни за что не сажают, не ври тетке. Я итъ жизнъ прожила чужого не тронула, слова грязного не болтнула. За что же сажать? А ты, паршивец, супружницу бросил, дом родной кинул, невесть куды подался. Кина ему понабилась. Люди без кина жили сколь? Во и хлебай тепереча слезы ладошкой. Господи, хворобу-то там не подхвати каку. Крестися не забывай хочь перед сном.

Витенька, я посылочку собрала. Не осуди за бедность уж. Крупы разной уложила и гречу тоже. Сахару пиленого и такого. И сала на базаре купила. Сейчас морозно, не зацветет по дороге. Витенька, чего ж будет-то, миленький? Ой, не можно совсем… Царапаю, а сама не вижу ничего. Слезы мешают.

Клавдия. Тетка твоя».

Около двух часов дня едкое облако наконец опустилось на снег. Разгрузка окончилась. Вокруг ни души.

Из трех пульманов мы выбрали первый, тот, к которому подцепят паровоз: ширина этого вагона точно соответствовала стандарту.

Женька пошел за «стенкой», я тем временем разложил на полу гвозди, приготовил молоток. (Руки горят, совершенно не ощущая мороза.)

С грохотом влетела «стенка-рулон», а за ней впрыгнул и Женька.

Наступила ответственная минута. Рокоссовский подтянул «стенку» поближе и поднял ее на вытянутых руках, как штангу.

Я начал вколачивать гвоздь в край одной из верхних реек с расчетом, что он выйдет в боковую стенку вагона.

Гвоздь согнулся при третьем ударе: промерзлое дерево не впускало его.

— Держи! — злобно прохрипел Рокоссовский.

Теперь всю эту колыхающуюся на ремнях многопудовую штору держал я. (Я точно знаю, что никогда в жизни не поднял бы такой тяжести, но в эту минуту тяжесть была смыслом жизни.)

Женька всаживал один за другим проклятые гвозди. Рейки звенели, как стеклянные, кололись, сопротивлялись.

— Все! Отвали!

«Стена» висела! Висела!

— Натурализм! — воскликнул Женька, «запудривая» ее цементом. Откатив обе двери до отказа (смотрите на здоровье!), заползаем в узкое пространство между стенками.

Сквозь щели виден кусок заснеженного поля — справа, слева — огромный цементный холм.

Глотнули еще спирта.

Прошло не более получаса. Совсем близко загудел паровоз: чувствуем ногами, как дрожит вагон. Лязгнули буфера. Вагон дернуло, и я оцепенел от ужаса… Все двадцать четыре рейки разом рванулись от лица. Инстинктивно вцепляюсь в ремни, стараясь удержать завесу, но этого Не требовалось. Восемь гвоздей надежно держали ее. Она просто колыхалась, как любой висящий предмет.

Проплыли мимо штабеля досок… Ящики со станками… Горы кирпича… Люди, копающие котлован… Мелькнула шлакоблочная постройка…

Сейчас будет запретная зона, колючая проволока, вышка с пулеметом, а потом…

Потом — *воля!*

Женька снял шапку. Я сделал то же самое. Вагон замедлял

ход. Все медленнее, медленнее…

Идеально ровная перина запретной зоны… Первая линия проволоки… Фанерный прямоугольник: «Стой! Стреляю!»

Вторая линия проволоки…

И вдруг — лицо мальчишки… двадцатилетнего, курносого. Из-под шапки светлые кудри. Он поет… Да! Да! Поет без слов! Тараракает весело и беззаботно. И весело и беззаботно пробежал глазами по пустому вагону. Его взгляд на мгновение встретился с моим: он был от меня не более чем в четырех метрах…

Вот он повернул голову к противоположной стене и юркнул под вагон, продолжая тараракать свой веселый мотив. А мимо уже плыла вышка…

У пулемета, спиной к нам, черный тулуп…

Потом ничего не было.

Я закрыл глаза. Слышу скрип промерзшей обшивки вагона и глухие удары сердца…

А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер!
Веселый ветер! Веселый ветер! —

тихо пел Женька.

Качалась «стенка». Ветер ударял в нее, стегал через щели по глазам цементной пылью.

Моря и горы ты обшарил все на свете…

Нас встречала *свобода.*

ЛИСТ ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ

Свобода…

Это ощущение коротко. Это — миг, как и все, что прекрасно.

Если это продлить, не выдержит ни разум, ни сердце. И сравнить это не с чем.

Ни экстаз любви, ни глоток воды при смертельной жажде, ни первый крик младенца для матери, ни исцеление от слепоты, ни находка клада не могут сравниться с этим…

Я не говорю о долгожданном назначении на должность, о выигрыше в лотерею, о чтении некролога с портретом личного врага…

Нет ничего общего с этим ни в моменте великого научного открытия, ни в минуте, когда вместо привычной шляпы надевают вам на голову венец из благородного лавра…

Не найти красок для живописания этого и не сыграть этого никакому актеру…

Пожалуй, лишь глухота Бетховена услышала однажды это…

Вспомните!

Рушится тьма, низвергаются в небытие глыбы мрака. Рвутся черные завесы. Смерть смерти. Конец ночи! И…

…бежит издалека, трепещет золотом и оранжем звонкий свет! Слепит на миг, но тут же материнской лаской гладит очи, гладит душу!

И сразу хочется рыдать! Рыдать и хохотать! Протягивать озябшие ладони! Хватать! Хватать лучи! Хоть чуть их придержать, запомнить, приберечь!

Куда там…

Они летят… И это скорость света! Они не только для тебя! Они для всех! Они спешат и к тем, кто жив, и к тем, кто мертв!

И все ликует!

Солнце! Солнце!! Солнце!!!

Людвиг Ван Бетховен.

Купите черный диск. Запритесь дома…

Поставьте на «фортиссимо» шкалу и не дышите.

Да! Да! Дышать не надо.

Дыханьем вашим будет он! И вашим сердцем…

Ударят враз смычки по нервам скрипок. Заплачут флейты… Хлынут медной лавой трубы… Сойдутся на неистовый шабаш гигантские литавры…

И по бесчисленным дорогам ваших вен, где час за часом, год за годом течет в сонливой неге кровь, задует ветер!

Ветер — буря!..

Погонит вверх! Погонит вниз! Туда — сюда! Давай! Давай, стоячее болото! Эй, эй! Быстрей! Живей! Не отдыхать сюда явился! Тоже мне — Обломов… Шевелись! Ну, словно труп, ей-богу! Смотри, как ярко светит солнце! Смотри: кругом цветы! Твои любимые ромашки, будто дети, вышли в поле! Смотри, вон — люди! Такие же глаза у них, как у тебя и так же пахнет кожа!

Это — Люди! Люди!!!

Они порою воют волком… Бывает, что укусят больно…

И все лишь оттого, что все хотят СВОБОДЫ!

Колеса вагона отстукивали свое: тык-тык, дак-дак… Ошеломило свободой. Ошпарило вольностью и тут же захватило прищипом сердце.

Из глубин сознания выполз банально вечный и трагический в своей бессмертности вопрос:

Что делать?

— Что делать будем? — спрашивает Женька.

— Как «что»? Жить будем, — отвечаю я, — а если откровенно: то и сам Аристотель не ответил бы на этот вопрос, будь он на нашем месте…

Винтовочными затворами лязгают стрелки, швыряют со стороны в сторону порожний вагон.

Мелькает редкий лесок… Проскочила лесопилка… Люди в знакомых бушлатах… Это бесконвойные.

— На запад волокет, — замечает Женька. — Километров восемьдесят чешет. Как думаешь?

— Давай вылезем, прикроем двери… а?

Прикрыли. Не так шкодит ветер, а то такие сквозняки устроил, что по вагону заходили цементные смерчи.

— Значит, договариваемся как? — спрашивает Женька.

— Как и договорились: при первой остановке разойдемся.

— Постарайся сесть на скорый. Товарняк осматривают.

— Будто пассажирский не проверяют.

— Поголовно нет. Я-то знаю. Конечно, если ты рыло не будешь всем показывать…

— Что же, мне на унитазе сидеть?

Помолчали.

— Времени у нас много, — снова заговорил Женька. — Искать будут на промплощадке дня три, не меньше.

— Это точно, — соглашаюсь я. — То, что ты со Шпалой затеял, гениально!

— Еще бы! Вся бригада в свидетелях… Избили «вора в законе»! Значит, точняк: зарезали обоих. Неделю будут трупы искать!

— А трупы, — подхватил я весело, — будут дефилировать по столице!

— Не суйся туда сразу… Приведи себя в порядок… А то прямо на вокзале накроют.

— Документик бы какой-нибудь…

— Паспорт не хочешь? На имя товарища Уинстона Черчилля?! Никак тормозим?!

Состав замедлял ход. Пристанционные постройки. Пацаны лепят «бабу». На голове у «бабы» ржавый таз без днища.

— Нижнеудинск, — прочли мы вслух.

Сворачиваем с центральной магистрали. Соседние пути забиты товарняком.

Остановились.

Скидываем бушлаты, пихнули за «стенку». Отряхиваемся от цементной пыли. Допили спирт.

— Я пошел, — сказал Рокоссовский.

Ладонь в ладонь. Пальцы в пальцы. Глаза в глаза. (Какие слова тут скажешь?)

Шагов его я не слышал, они потонули в гудках и грохоте товарного тупика.

Смотрю на часы: без двадцати шесть.

Ушел паровоз. Пришли сумерки, притащив с собою еще градусов десять мороза. Итого не меньше двадцати пяти.

Замерзли руки (перчаток мы так и не достали!). Замерз нос. Надо выходить…

За кривыми путями — ровное поле. Над ровным полем — кривая луна. Через поле синяя тропка к домам. Домики махонькие — в одно-два окошка — и все дымят голубым. Тихо, ни собак, ни людей. Где-то у черта на куличках, поеживаясь от мороза, выстрелила древесина, и опять тишь.

Брожу вокруг станции часа три.

Согрелся ходьбою, и руки согрелись, и нос, но по спине нет-нет, да и пробежит холодок… Это я знаю что… Это — страх.

Властно приказываю, кричу себе: на станцию не пойдешь! Поезда нет, там пустынно, и тебя, как миленького… Будешь ждать рассвета! Будешь ждать дня! Тогда к кассе! Билет! И в поезд! Инстинкт, как собаку, погнал к домам.

Ночлег. Ночлег. Ночлег.

Домишки оказались близко. (Наверное, быстро шел?)

Окошечки маленькие, как у вагонов.

Занавески, занавески, занавески.

Хоть бы одно лицо в окне! И на улочках ни души. Да и улочек нет — тропки в глубоком снегу.

Окно.

Лицо. Пожилой мужчина. Железнодорожная фуражка. Обхожу дом вокруг. Еще одно окно. Сквозь пыльную изморозь вижу что-то вроде нар. Цветные подушки и дети. Двое. Что-то едят… Да это яблоки… Подошла женщина, на плечах телогрейка. Говорит что-то ребятам, садится тут же на нары. Улыбается… Она очень молоденькая, почти девочка.

Другой угол мне не виден. Там мужчина.

Жду.

Вот, наконец, он надевает полушубок. Вместо фуражки — шапку. Лет пятьдесят, не меньше. Наверное, отец…

На стук ответили оба.

— Кто там?

— Пожалуйста, извините… — Запнулся. — Я незнаком вам. Мне необходимо поговорить с вами…

Дверь открыли.

Вошел, как под детское одеяло… Две головки… Открытые рты… Глазки — пуговки.

Женщина двинула табурет, смахнув с него шкурки от яблок.

— Присядьте.

Сел. Смотрю в ее глаза. Его не вижу (он за моей спиной, у двери). Нет! Соврать не могу! Не смогу, хоть лопни!

— Я сбежал из лагеря.

Ничего не изменилось в лице. Ничего. Поворачиваюсь к мужчине, повторяю:

— Я сбежал из лагеря.

С его лицом тоже ничего не происходит. Он отворачивается от меня и… запирает дверь на крюк.

— Там об этом еще не знают. Вы не беспокойтесь… Я не смог больше… Я осужден несправедливо. Я — не вор, клянусь вам, не мошенник. Я никого не убил. Сейчас на станцию нельзя… У меня есть деньги… — В руках деньги. — Мне надо до Москвы, там у меня все… Я никогда не забуду вашей доброты… До утра, до поезда… Прошу вас…

Замолчал. И они молчат. Мужчина присел к столу. Подкрутил фитиль в керосинке.

Морщинки, морщинки… Седые брови… Совсем дед. Все шестьдесят. Порез от бритвы на шее залеплен папиросной бумажкой.

— Седьмой у нас — без остановки. Только «Свердловский»…

В девять шестнадцать.

Я не видел, но почувствовал, что женщина улыбнулась.

(Дрожит подбородок. Дрожит и ничего с ним сделать не могу.)

— Дядя, ябли! Дядя, ябли!

Малыш тянет руку с огрызком яблока.

(Дернулось лицо. Не выдерживаю — плачу.)

Засуетились.

— На бочок, на бочок, — зашикала она на сыновей.

Хозяин поднялся.

— Задерни занавески… — Взял фонарь и уже в дверях: — Разбужу к поезду.

Вышел.

— Да не тревожьтесь… Он на дежурство пошел.

— Ну, как вы можете…

(Стыдом ошпарило морду — у меня действительно мелькнула эта зловещая мысль.)

— Наш папаня тоже… отбывает. Два отсидел, год остался. Вы в каком?.. Из какого? — поправилась она и улыбнулась.

Я назвал номер.

— А наш папаня в сангородке трудится… Медбрат.

Поставила на керосинку чайник.

— Это ваш отец?

Кивнула головой.

— Серьезное что-нибудь?

Снова кивнула.

— Пить и есть захотел богато. Я ему сто раз твердила: «Не пакости! Не пакости!..» Скиньте валенки. Вот сюда кладите. Утром теплые будут. Вал какой-то ценный из депо стащил и в колхоз продал. Ну, и что теперь?.. Сам сидит. Нас — с квартиры долой: деповская. Куда устроишься? Яслей нету… Хорошо, дед приехал. С пенсии да за работу. Вот ведь как…

(Молодая, совсем молодая. Сколько, интересно, ей лет? Двадцать, наверное… Руки усталые. Обломаны ногти. Медное колечко — символ супружества. Круги под глазами. Говорит сердито, а сердиться не умеет еще, по-детски только хмурит брови и все.)

— Вам внакладку?

Мне постелено на полу. Дедовский тулуп пахнет машинным маслом и табаком. Вкусно. Гудит в печи уголь.

Свет погашен. Дети спят. Она не спит, вздыхает, ворочается.

Мне не спится — понятно. А она? Может, боится все-таки?

— Вы меня боитесь?

— Ни капельки, — донеслось из темноты.

— Тогда спите.

— Не получается.

— И у меня ни в одном глазу.

— Давайте в карты играть, — неожиданно предлагает она.

— В карты?

— Ну да. Давно в карты не играла. Как Валерку посадили… Вот с того времени…

Зажгла огонь. Из шкатулки — она тоже сшита из карт — вынула колоду. Садится рядом на тулуп.

— В подкидного умеете?

— Мало-мальски, — скромничаю я, сдавая карты. — А на что?

— Начнем с маленькой, — объявляет она, будто не слышала вопроса. Выкидывает две семерки. Крою. Подкинула девятку. Я потащил карты

к себе. (Совсем как школьница. Забылась в игре. Ничего уже нет: ни Валерия в тюрьме, ни меня из тюрьмы.)

Накидывает мне целую кучу — везет девчонке.

— Мы с ним на поцелуи играли… С Валеркой…

Брови нахмурены. Напряженно думает, с чего ходить.

— Мама, пись-пись, — замяукал Лёшик.

(Лёшик и Олёшик — так она их называет.)

— Потерпи минуточку, сынок…

Не отрывается от карт. Ходит дамой. Трачу на даму козыря.

— Нету, — разочарованно говорит хозяйка и берет на руки сына.

— Пись-пись-пись, — помогает она ему, держа над ящиком с углем.

— А у вас на поцелуи не играют?

— Где? В лагере?

Засмеялась.

— Нет… В Москве?

— Играют… почему же… Только мне не везет — проигрывал.

— А проигравший чего делает? — допытывается лукавая.

— Обязан целовать выигравшего.

— Надо же! И у нас такое же правило!

Смеемся оба.

Уложила Лешика. Смешала карты.

— Давайте сначала.

— Под интерес?

— Конечно… А то скучно.

(О, молодость!) Я тоже забываю обо всем на свете; гляжу на пухлый рот и, в прямом и переносном смысле, захожу с туза:

— Меня, добрый мой ангел, зовут Виктором.

— Я все спросить хотела, да как-то неудобно…

— А вас?

— Надежда, — отвечает она кокетливо и кладет на моего бубнового туза козырную шестерку.

Подкидного прерывал за ночь три раза Лешик, два раза Олешик и один раз я.

Проигрыш платили по-честному…

Вошел дед. Еловой веткой у порога сбил с подшитых валенок снег. Подкинул уголь в печь.

— Пора… «Свердловский» вышел на перегон…

Сидя на полу, надеваю теплые валенки. Встаю.

На столе — железнодорожный билет.

— До конечного пункта, — сказал дед не мне — сказал ей.

— Ты умница…

(У меня опять что-то творилось с подбородком.)

Я протянул деньги.

— Ни! Ни! — крикнула она отцу.

Дед аккуратно сложил деньги и, с неожиданной для его лет силой, вложил их в мои руки.

— Не обижайте Наденьку…

Я вымазал их лица своими слезами и вылетел вон…

Скорый «Хабаровск — Свердловск» принял в свое чрево двух пассажиров: меня и хмельную толстуху. Я помог ей втиснуть в тамбур корзины, из которых торчали шипящие гусиные клювы.

— Во, жельтмен! Во, жельтмен! — гыкнула тетка на весь вагон. — Дай-то те бог всякого всего такого!..

ЛИСТ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Свердловск, пятнадцатое декабря. Полдень.

— Бяги, бяги! Чево пялишься?! Занимай в камеру!

— Да где они, камеры-то?

— Дык, спроси, остолоп, спроси!

— А ты?

— Я тут покуда с вешшами.

— Внимание! Внимание! Пассажир Лютиков, прибывший из Омска! Вас ожидают у справочного бюро вокзала! Повторяю…

— Ресторан к вечеру отворят…

— На кой те ресторан? Ее в гастрономе — залейся.

— А пить? Опять в сортире?

— Гляды-ко-тка! Санитарный какой… Тама у деда стакан зато. Завсегда дает.

— Ой, сынок, заблудилась… На Тагил мне надоть, на Тагил.

— Осторожней с мешком! Тыква!

— Пирожки горячие! Кому пирожки горячие?!

— Напечатано во вчерашней… Вы что, мне не верите?

— Это любопытно…

— Я сам своим глазам не поверил.

— Внимание! Встречающие родственники, вас ждет у справочного бюро пассажир Лютиков, прибывший из Омска! Повторяю…

Если бы не зеркало-гигант во втором этаже вокзала, быть мне в пикете… Так и подмывает у самого себя спросить: «А вы откуда, милейший? Ваши документы?! Пальто (светлый беж) не у гражданина Лютикова сняли? А бриджи? Дар английских летчиков? А что у вас с глазами? Нервы?..» (Милиция! Сразу двое!)

Поворачиваюсь и прямо к ним, радостно:

— Помогите, дорогие товарищи!.. Как до Управления эм-вэ-дэ доехать? Спрашиваю, спрашиваю — никто не знает…

Объясняют подробно и вежливо.

— Благодарю вас.

Решительно иду на выход.

На привокзальной площади выбрал старуху.

— Мать, барахолка у вас где?

— Это, родимый, на трамвае. Садись сейчас на…

Полупустой промерзший трамвай тащится через весь город минут сорок. Послевоенная барахолка… «Толкучка»… «Толчок»… Прими поклон до самой земли и да будь ты проклята во веки веков!

Сколько согрела ты рук мятыми рублями… Сколько обула босых ног… Сколько накормила голодных детских ртов, сорвав с родительских плеч последнюю одежонку…

Не подсчитать обманов, сделок, барышей, украденных капиталов. А капитал-то — тощая трубочка, перевязанная веревочкой.

Осторожно, не спеша разматывает мужик веревочку. Неохотно отдал бумажку. Остальные опять в трубочку и опять веревочку… Мотает, мотает, да и в карман задний и засунул. Платок цветастый, что купил, трясет… И сам любуется, и показать другим охота.

— Сколько отдал, батя?

— Сотнягу.

— Переплатил, батя.

— Чего болтаешь? Не слушай его, батя! Платок — что надо! Жена опупеет.

— Жену схоронил… Это — сеструхе.

— За такую тряпицу и молодуху найти можно, — вставляет третий. Мужик доволен: повезло с покупкой, оценили люди. Не грех и стопку…

В базарной пивной у стойки… Рука в карман… Е-мое… Ни трубочки, ни веревочки… Через распоротый бритвой карман видны кальсоны.

— Ы-ы-ы!!! — воет мужик, вытирая сопли цветастым платком.

А котел кипит. Валит пар из тысячи носов и ртов…

…«Почем?»… — «Сколько просишь?»… — «Кому шинель?!» — «Лещенко не надо? "Чубчик"! Дорого?! Крути "Светит месяц"!» — «Да это ж "хром", дура! В таких Керенский не ходил!» — «Часы, хлопец, не продашь?» — «Где дырочка?! Где дырочка?! С магазина кофта. Не видишь — ярлык!» — «Сколько вы за щенка хотите? — Не продажный: сам купил». — «Десятку?! Ты что, офонарел?!» — «Да дай ему в глаз, чего споришь?!» — «Презервативы японские… — Примерить не дашь?.. Гы-гы-гы!» — «Мам, смотри, белочка!»…

— «Темная ночь. Только пули свистят по степи»…

— Эй, девочки, купите патефон — женихов заманивать!

— Вашему брату лучше бутылку! Это — вернее!

— Гы-гы-гы…

— Да разве я продавала бы… Завтра хоронить, а на что?

— Спекулянт несчастный! Пересажать вас всех за решетку!

— Вона! Вона! Я сама видела! Держите его!

— Дер-жи-и-и!!!

— Медальками не интересуетесь? Есть «За отвагу». Уступлю недорого…

— Да я на одних продовольственных карточках по две «косых» имел! А сейчас — прокол полный.

— Будь благоразумна, Катенька. Это же — безвкусица и притом дорогая.

— Подайте, люди добрые…

— Ишь, харю нажрал! Кобель недорезанный!

— Зайки-копилки! Зайки-копилки! Копейку бросаешь — тыщу вынимаешь!

— Ну, что пристали к человеку? Не видите — калека…

— Мово с «Уралмаша» уволили. Алкоголиком обозвали. Вот с горя и пьет кажинный день.

— Бисер старинный, дамочка. Вы же видите… Теперь такого не встретите.

— Беляши! Беляши! Бери еще, красавчик!

Беру шестой. Приятно течет по пальцам горячее сало. Рядом ждет девица. Девица — так себе… Фуфайка. Платок пуховый. Красные валеночки.

— Это что у вас? Женское? — спрашивает она.

У меня на руке пальто (светлый беж). На плечах — обновка: меховая куртка коричневой кожи с капюшоном на «молнии». (К бриджам комплект — что надо!)

— Нет. Мужское.

— Материал красивый…

— Габардин.

(Разворачиваю и демонстрирую «товар».)

— И сколько просите?

Я уже с ним хожу битый час. В продажу оно поступило за 300, потом цена упала до 200, а сейчас я был готов отдать за сотню. Кому он нужен? Под Новый год — габардин… Смешно…

— Отдам за сотню, девушка. Честное слово, надоело ходить. Оно совсем неношеное. Смотрите…

Взяла. Накинула на себя. Соображает.

— Перешить можно… Цвет больно приятный.

— Конечно! К весне как раз. И цвет вам идет. Берите… Это же просто даром.

Она держит пальто. Гладит мятый рукав. Чуть смущенно произносит:

— Я бы взяла… У меня с собой нет столько… Я за чулками пришла. Вы не смогли бы дойти? Это рядом…

— Конечно! Какой разговор…

Выбираемся из толпы к трамвайному кольцу. Свернули налево в узкий проулок.

— Вы — из-за границы?

— Откуда? — не понял я.

— Из-за границы?

— Почему вы так решили?

— А у нас парни тут приехали… В Германии служат. У них тоже куртки

такие и вообще вид такой… — Она долго подбирает слово. — Солидный…

— Я из Москвы. В командировке.

(Кажется, возникла необходимость объяснить теперь, почему столичный командировочный загоняет демисезонное пальто… Идиот! На подобные вопросы у тебя должны быть готовые ответы!)

— А это — товарищ попросил продать.

(Не очень удачно. Теперь надо объяснить, почему «товарищ» сам не пошел на базар.)

— Он здесь в госпитале. С войны еще…

— В каком? — любопытствует покупательница.

— В этом… э… в центральном.

— На улице Красной Армии, который?

— Ну да.

(Дальше врать легко — прямо само выскакивает.)

— Заехал к нему, а он — сами знаете мужиков — выпить охота, скучно… Все равно валяется. Говорит: «Продай, да продай…»

— А что у него?

— Рука… Вот так отпилили…

— Осторожней! Тут у нас ступеньки неважные.

— Ерунда.

Печь в полкомнаты. Круглая, горячая.

— Доменная? — шалю я словами. — Кузбасс на дому?

— Грейтесь.

Скинула фуфайку, платок. Забросила за печку валенки. Так и осталась в шерстяных чулках.

Подошла к швейной машине, достала из ящичка деньги.

— Извините, что так вышло. Задержала вас…

— Ерунда. Спешить некуда.

Сказалось это как-то очень грустно: «Спешить некуда».

— Вы не сегодня уезжаете?

— Могу ехать, могу — не ехать…

И скажи она мне сейчас хоть слово, посмотри она сейчас как-нибудь иначе, не как на продавца пальто… — не двинулся бы от этой толстухи-печки. Так захотелось побыть в доме. В чужом, но доме… хоть немного…

Но она молчит. Разложила на кровати покупку. Обдумывает.

(Надо уходить. Не раскисать. Ну, баба. Ну, дом. Ну, печка.

Тебе-то что?) Дернули за язык… (Кто, кроме черта, мог это сделать!)

— У вас так уютно, что и уходить не хочется.

— Я укорочу немного — будет кушачок. Правда, с кушачком интересней?

— Я не хочу уходить…

— Пуговочки можно обшить этим же…

— Я никуда не уйду.

Повернулась ко мне, оставив пальто. И прямо в глаза:

— А зачем вы мне про товарища неправду сказали? И про госпиталь? (Проваливаюсь сквозь землю.)

— На Красной Армии никакого госпиталя нет…

Улыбнулась понимающе, будто все-все ей ясно стало.

— Я щей сегодня сварила. Будете кушать?

Съел две тарелки щей, кусок студня и шесть баранок с чаем.

За это время выяснилось: муж бросил, Игорь на «круглосуточном», работает в пошивочной мастерской.

Тщательное наблюдение обнаружило: серые и добрые глаза и широковатый носик, который при улыбке делается еще шире, тогда лицо Валентины становится похоже на матрешку.

Вопрос о возрасте не задавался. На вид — лет двадцать семь — двадцать восемь. Особая примета: принимает меня за спившегося.

Оскорбленный этим, я горячо принялся доказывать обратное и даже божился. Кончилось тем, что я сбегал на толкучку и принес вонючего самогона.

Вконец охмелев от обиды, сытости и толстухи-печки, я возвестил миру о решении остаться ночевать следующей оригинальной фразой:

— Я, извиняюсь… б-буду с-спать…

Дальнейшие события память сохранить отказалась…

Открыть глаза — проблема… И если бы не запах, невероятный по силе и бесспорный по своему происхождению, — эта проблема так бы и не была решена.

Перед глазами потолок. Разбегающиеся от угла трещины… Дышит в плечо спящая Валентина. Но запах!.. Откуда так несет?.. Шорох… Это там, где печь… Скосил глаза, не поворачивая головы…

У открытой печки — мальчонка. Рубашка до пупа. Весь в говне… Мнет его руками… Лепит из него лепешки и кладет их в еще теплую печь, в золу.

Задыхаюсь от вони и смеха.

Валентина вздрогнула. Проснулась. Шепотом в самое ухо:

— Ты что?

Не могу вымолвить ни слова, иначе смех разорвет меня в клочья.

Скрипнула печная дверца.

— Игорек, — позвала она нежно.

В ответ сопение.

Не отрывая головы от подушки, а значит, не видя его, говорит:

— Это — папа… Поцелуй папу…

Летели клочья.

ЛИСТ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ

Москва. Казанский вокзал. Восемнадцатое декабря. Утро.

Столица еще дремлет. На пустынном тротуаре соскребает ледяные корки девушка.

— Доброе утро, синьорита!

— Доброе утро, синьор!

Прервала работу. Цветной рукавицей провела под носом.

— Из Рима?

— Да. От Папы…

Прыснула в рукавичку.

— А где гостинцы?

Сосредоточенно шарю по карманам. Натыкаюсь на монету.

— Вот!..

Верчу перед ее носом.

— Загадай любое желание… А мы ответим: исполнится оно или — увы…

— Ну-ка, ну-ка! — заинтересовалась она.

— Оп-ля!

Монета кружится у ее ног и ложится «орлом».

— Порядок! Гарантия самого Папы! Будьте здоровы!

У гостиницы «Ленинград» ныряю в такси.

— На Колхозную площадь, пожалуйста…

Квартиру тридцать семь найти нелегко.

Со двора через лестницу вы попадете во второй двор-колодец, а из колодца, спотыкаясь о поленницы дров, вползете в узкую дверь, которая впустит вас еще на одну лестницу. Подниметесь на пятый этаж и здесь, в глубокой нише, увидите последнюю дверь и рядом пластинку из тусклой меди. Четкий брусковый шрифт: «М. Д. Живило».

Мать Марка. Она стоит рядом. Маленькая, сухонькая. Никак не может приладить гребень в сбившийся волос.

— Вы не волнуйтесь, Эмма Яковлевна. С ним все в порядке.

— Вы — Виктор?

— Да, да, Виктор Костров.

— Так раздевайтесь… Что же вы стоите? Он в каждом письме о вас… Он всегда такой влюбленный. Вас освободили? У вас, кажется, тоже большой срок?

— Пришла бумага. Я писал Сталину много раз.

— Идемте, идемте сюда… Сейчас кофе… Вы, конечно, хотите есть? Нет, вы не махайте на меня руками… Я же вижу, что вам

нужно есть.

— Эмма Яковлевна, милая, не…

— В «мешочек» два яичка… Вас там кормили яичками?

Схватила за руку, тащит на кухню, усаживает на плетеный стул и начинает порхать вокруг плиты, как девчонка.

— Вы — ленинградец… Я знаю. Но вы можете здесь пожить. Никаких церемоний! Я буду только рада… Часто температурит? Ай, вы же не скажете… Он, конечно, предупредил вас…

— Честное слово, Эмма Яков…

— Не лгите! Не лгите Эмме Яковлевне, все равно не поверю.

Как много общего между ними. Страшно похожи: и манера говорить — эти рваные фразы… И резкий жест.

— Сначала вы будете есть яички и пить кофе… Потом я буду допрашивать… Там действительно овощи? Он их терпеть не мог. Берите масленку… Несите в мастерскую — в столовой холодно…

Комнатой не назовешь. Это — зал с высоченным потолком. Два окна почти рядом. В углу — чучело обезьяны. Обезьяна держит в руке кисть, другой чешет подмышки.

Картоном завешены стены. На каждом куске картона — кусок Москвы: мост, бульвар, набережная, памятник, опять мост…

— Марик любил акварель и гуашь, — разъясняет Эмма Яковлевна. — Я выслала ему краски, он так просил. Он не очень худой?.. Неужели клопы? Это ужасно… Тонус?.. Да что вы, Виктор… Я же мать. Я-то знаю. Он всех обманывает… Он очень страдает… Но он не покажет этого никому, даже мне… Только подумайте! В тот день, когда он не вернулся домой… Его арестовали у Лаговских, и ему разрешили позвонить домой… Вы знаете, что он мне прокричал в трубку?.. «Мама, я еду в тюрьму! У меня будет новая тема!»… Как вам это нравится: «Новая тема»? А какие он пишет матери письма!.. Так пишут из Ниццы… «Стоит чудная погода. Пахнет кедром и птичьими гнездами»… Он ничего ни разу не попросил… Он, конечно, посылки раздает? Нет?.. Только не лгите… Да-да. Он не может иначе. Единственное, что его всегда беспокоит, — это деньги… Вы же знаете, как он любит деньги… Если бы вы только знали, Виктор, сколько денег он истратил на эти «деньги»… Как, не понимаете? Он разве не говорил вам о своей коллекции? Странно… У него богатейшая коллекция… Я ее берегу, конечно… Вы только посмотрите…

Она открывает картонные коробки, узкие и длинные, похожие на пеналы. На цветном бархате монеты. «На Валдае?.. Нет-нет. Он никогда не был на Валдае. Он выезжал из Москвы только один раз, в Казань. У нас там дальняя родственница. Нет-нет, вы что-то путаете. Или, скорее всего, Марик… Он же великий лгун и выдумщик. Уралов, вы говорите?.. Что вы!.. В нашем доме не

было никаких Ураловых… Особенно с мотоциклами… Греческая монета? Совершенно верно… Он как раз и поехал за нею в то утро к Лаговским, к Фиме… Он возит ее с собой?.. Она у вас?.. Спасибо… Драхм… десятый век?.. Это он так сказал? Я сегодня же напишу ему… Я положу ее в эту коробку… Вы видите, Виктор, на ней написано: "Греция"!.. Но неужели клопы?.. Это ужасно…»

Об этих людях мне сказать более нечего. И потому только две справки:

1. Марк Живило скончался в той самой сельхозколонии в тысяча девятьсот пятьдесят третьем году. В тысяча девятьсот пятьдесят шестом реабилитирован посмертно.

2. Э. Я. Живило умерла в пятьдесят шестом году. (Из официальной справки адресного бюро Москвы.)

В высотном доме, что на Калашниковской, живет Александр Фомин.

Шурик…

Бабьим летом сорок седьмого я встретил его здесь совершенно случайно перед отъездом в ковыльную степь.

— Моя хата не с края, — сказал чуть хвастливо старший лейтенант МГБ Фомин, кивнув на небоскреб. — Вещи вот никак не перевезу — некогда.

— Уже приступил? Где? — спросил я без интереса.

— Охрана Кремля. Но ты главного не знаешь?.. Помнишь Светлану? В столовке нашей работала… В школе. Блондинка такая…

— Официантка?

— Ну да.

— Смутно.

— Ну как же!.. Она наш столик обслуживала. Она еще так потешно не выговаривала «ш»: «Фурик», «фпионы». Помнишь?

Выглянула из памяти краснощекая с пышным бюстом… «Фурик»…

— А-а-а… Ну, конечно!

— Моя невеста.

— Ну и вкус у тебя.

— А что?

— Да нет… Ничего, — увернулся я от объяснений. — Людмила лучше.

— Вот дает! Что же ты от нее ушел?

— У меня от сладкого зубы болят.

В домоуправлении подтвердили, что Фомин Александр Яковлевич действительно проживает именно здесь, и квартира

его находится на четырнадцатом этаже.

О том, что он женат на Светлане Степановне Рюминой (ныне Фомина), свидетельствовала запись, которую я легко прочел в домовой книге, через спину паспортистки.

«Заявлюсь вечером», — логично рассудил я. Днем он на работе, а разводить тары-бары с этой краснощекой бессмысленно.

Я пошел бродить по Москве.

Меня не миновала и на этот раз необъяснимая странность, которую я замечал за собою и позже. Эту странность подтвердили мне и многие другие люди, приезжающие в Москву.

Зачем бы человек ни приехал сюда: по делам ли командировки, в гости ли к другу или просто проездом, имея час-другой… — человек этот, покружив с целью или бесцельно по городу, обязательно выйдет сюда… К стене.

У елочек концы веток окрашены патиной — цветом Вечности.

Иду мимо. Вдоль стены. Как и тогда — на параде.

Раз-два! Раз-два! Взмах руки… Глаза смотрят на Мавзолей. Кровь знамен… Ветерок за ворот… А рядом плечи, мускулы, загорелые лица, взволнованные и чуть напряженные. Раз-два! Еще шаг, еще… Вот он!! Машет рукой…

Стою у Мавзолея. Стою совсем близко. Вижу винты в дверях.

И летит мимо глаз на жуткой скорости лента времени… Не удержать, не исправить, не начать снова…

Коридор буквой «Г»… Голая мама в тазу… Отец стучит сухарями… Под зеленым ватником кобура с наганом… Среди вороха одеял глаза Верочки… «Это что, спички?»… Фланелевый шарф и мальчишкины руки, перепачканные углем… Гипсовый Марк…

— Он в яме был! В яме!..

Лагерный хор. Слова из поганых ртов:

— «Страна моя-я-я!!!..»

— Сомнут тебя, Витенька, — шепчет Томка холодными губами.

— Га-га-га! — гусиные головы из корзины…

— Уважаемый, не подскажете… Нам до почты надобно.

— Идемте… Мне в ту же сторону.

— У нас там найдется что? Разогрей…

Светлана уходит на кухню.

Я сижу за обеденным столом, верчу в руках солонку.

— Значит, сбежал? — вторично спрашивает Фомин, заправляя нижнюю рубашку в пижамные брюки.

— Как видишь.

— Та-а-ак…

Закрыл дверцу серванта. Потер виски. Переставил с одного места на другое керамическую белую лошадку с золотой гривой.

— От тебя прошу одного: передай письмо. Оно у меня с собой. Это же ничего тебе не стоит. На приеме или еще когда…

— Ты что, дурак, что ли?

(Опять трет виски.)

— Не понимаю.

— Это заметно.

— Но почему? Тебя же не просят что-то говорить, что-то доказывать… Только передать. Лично в руки… И все…

Рванулся ко мне, зашептал в самое лицо:

— Можешь ты понять, дура… Меня арестуют тут же. И я буду там, где ты… Откуда ты, я хотел сказать. Это — не игрушки. Одно уже, что ты здесь… А! — он безнадежно машет рукой. — Ничего не понимает! Ты считаешь, что тобой заниматься должны все! Все! Вся страна должна заниматься Костровым! Только им. Вся партия… Фомин, Сталин!.. Ты спятил! Бежать! Это же… Как тебе только это в голову пришло?! Тоже мне искровец… Запутался в юбках… Брагина на кой-то дьявол разгневал… Я-то точно знаю, что это его работа. Но кто будет доказывать? Я справлялся о твоем «деле». Это очень серьезно… Очень. Идет битва идей… Битва систем! А ты не только не принимаешь в этом участие, но ты еще и… Ты думаешь, я забыл про пацана?! Я его помню… Но есть вещи святые… Как граница, например… Где каждая тень — враг. Как ты этого не можешь понять?! Или ты будешь выяснять, кому эта тень принадлежит? Нашим или вашим?! Я тебе как бывшему другу… Ты понимаешь… Мы — не бабы… Я тебе говорю: кончай рыпаться! Кончай ходить в одиночку! ^

Вошла Светлана. Поставила передо мною суп, хлеб.

— Ешь.

Я ткнулся в тарелку.

Гороховый суп пересолен, но не в этом дело… Я чувствую, как по спине холодной лужей расползается страх. Он вошел в комнату вместе с ней. Он и сейчас в ее остановившихся глазах. Она сидит напротив, сложив руки на большом животе.

Я не могу больше. Суп не только пересолен, он — холодный, он — ледяной. Я нахлебался страха…

В прихожей мокрые следы. Это от моих валенок.

Снимая с вешалки свою куртку, увидел шинель, погоны капитана и начищенные до блеска пуговицы.

— Ты куда, Фурик?

— Никуда, — огрызнулся муж.

Открыл замки. Выпустив меня на лестницу, шепнул:

— Я могу дать тебе денег…

— Перебьюсь.

Залпом ахнула тяжелая дверь.

По тонкому льду Москва-реки гоняются на коньках мальчишки.

ЛИСТ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ

Ленинград. Девятнадцатое декабря. Утро.

Из вагона ступаю прямо в лужу.

Сделал я это мужественно, так как другого выхода ни у меня, ни у вагона не было.

Город истекал водой.

Я мгновенно превратился в объект иронического внимания своих земляков: шествующий по Невскому человек в валенках и разбрызгивающий по сторонам воду, это, согласитесь, бывает не часто. А в данном случае может вызвать даже подозрение.

Надо было принимать срочные меры.

У Обводного канала стоит исцарапанный осколками дом. У ворот — девочки с санками: две маленькие, одна постарше — в классе, наверное, шестом.

— Я тебя очень попрошу, девочка… Поднимись в квартиру семь. Спросишь Пшеничникову, тетю Клаву. Скажи ей, только тихонечко, на ушко… Племянник, мол, ждет внизу.

— Пшенникова?

— Пшеничникова, Пшеничникова.

Девочка юркнула в парадную. Я перешел на другую сторону улицы.

Вот и тетя.

Трусит по булыжникам через улицу. Лицо в слезах. Бормочет что-то бессвязное. Припала со стоном и разревелась навзрыд с икотой…

— Мила-ай… Что же это… Господи-и-и…

Объясняю ей, как можно короче и понятней: «Сапоги! Сапоги!» И что на барахолке мне появляться нельзя! И что деньги есть. Нужно только купить. Сейчас! Немедленно!

— Так ты зайди, зайди… Покушай… Компотцу я изготовила…

Чуть ли не силой уволакиваю тетю из опасной зоны.

— Потом, тетушка, все потом… Сейчас — сапоги. Размер сорок второй. Офицерские. Запомните, сорок второй!.. Я буду ждать здесь, у моста…

Тетю всосала густая толпа базара.

Теплая парадная — очень удобное место для переобувания. Тетя безостановочно причитает, ахает, охает, в сотый раз начинает толковать о «компотце» и льет слезы на валенки и без того мокрые.

Мудрость тети простерлась до того, что, кроме добротных сапог, она купила и вязаные носки.

— Душегубы… — шипит тетя. — Где видано: пятьдесят рублев за этакую пару. Шерсти нету, господи… я б и сама…

Все. Ноги в спасительном тепле. Все в порядке.

Следующий вопрос: ночлег.

— У вас нет никакой завалящейся старушки? Пожить мне…

В ее глазах вопрос. Она не решается задать его вслух. Его я видел еще час назад там, при встрече. И вот опять…

Надо отвечать. Иного выхода нет.

Тетя прослушала все до конца абсолютно спокойно. Я даже подумал: поняла ли она?

Она поняла. Никаких слез, ни охов, ни ахов: тетя самым добросовестным образом думала. Я не мешал ей.

Через минуту она нарушила молчание следующим изречением:

— Из тюрьмы убежишь — от бога некуда.

Мы вышли на улицу. Она — впереди с валенками под мышкой. Я плелся следом.

— Документа у тя никакого, значит, нету?

— Никакого.

— Значит, выходит, надобно тебе к Зое Блаженной…

Остров Декабристов. Или попросту — Голодай, как здесь называют его многие и поныне.

Черный пустырь сливается с черным заливом. Только там, совсем далеко, видна серая кромка льда. Грязь — по колено. Ветер мокрой пылью моет лицо.

Холодно.

На краю острова — дом. Бурый кирпич стен. Маленькие окошечки. Все погружено в ранние сумерки… (Тюрьма…) Во дворе и совсем темно. Жгу спички у каждой двери. Здесь…

Дергаю за проволоку… (Других сигнальных приспособлений не нашел.) «Динь-динь» за дверью.

И отчего-то сразу тепло. И никакого сырого ветра не было. И не тюрьма вовсе. Просто: дом старенький, убогий. Не вечно же молодцом быть.

— Кто там?

— Человек божий, — отвечаю я в полном соответствии с теткиной инструкцией.

Отворили.

— Входи, сынок, входи. Не пущай холоду…

Старушка, ничем не примечательная, провела по коридору мимо кухни, где сидели две таких же и пили чай.

Миновали еще одну дверь и уткнулись в крайнюю.

Стучит тихонько.

— Зоенька… Тут до тебя…

— Пусти.

Вошли.

На истертом ковре кушетки — девочка. Худенькое бескровное личико. И будто парик… Высохшее мертвое золото свесилось паутиной, закрыв пол-лица. Плечи-косточки… Руки-косточки… Медленно, как во сне, подняла к лицу руку. Отодвинула золотую паутину.

Глаза.

Голубое… Без конца и края… Голубое…

Смотрю очумело. Не думается, не чувствуется, только легкость какая-то и от легкости этой почему-то плакать хочется.

— Говори, говори, сынок, — тронула мне локоть старуха.

Я протянул записку от тети.

Девочка не спеша развернула ее и, как мне показалось, долго читала короткие строки старательно выведенных букв.

— Постели, Ивановна, — молвила она старухе.

Та тронула локоть.

— Спасибо, Зоенька. Спасибо, — прошептал я, еще раз заглянув в голубое, без конца и края.

Большая и почти пустая комната. Выцветшие довоенные обои. Окно закрыто полотняной занавеской. Домотканый половичок поблек. На письменном столе бронзовая рамочка для фотографий. Пустая. Два стула в серых чехлах и кровать с пугающей чистотой подушек.

Старуха молча разобрала постель и вышла, прикрыв дверь так, будто в комнате лежал тяжелобольной.

Я скинул с себя все, выключил свет и спрятался под одеяло.

Уснуть оказалось непросто.

У девочки взрослый голос… Совсем взрослый. Словно сказала все миллиарды своих слов, что было предназначено сказать ей. А теперь только необходимое, без чего нельзя: «Пусти», «Постели, Ивановна»… Если бы можно и этого не говорить — не говорила бы. Молчала.

Отчего же ей молчать хочется? Немые и те не молчат. Они наоборот: болтуны страшные. Молчат только мертвые…

Неделя пролетела в великой праздности.

Знакомлюсь с городом заново по системе «турист-одиночка». Эрмитаж, Русский музей, просмотр нового фильма, экскурсия за город с одновременной экспроприацией елки (Старый Петергоф), знакомство с премьерой театрального сезона (такая ерунда, что и

название не помню), покупка в Пассаже полушерстяного костюма, и — как апофеоз — рискованный кутеж в ресторане «Москва»… (Ресторан занимает второй этаж, а на четвертом — коридор буквой «Г» и шестьдесят семей, знающих меня, как облупленного!)

В конце недели перед «туристом» возникла новая проблема.

Реальность подсказывала два решения.

Или пить чай с «ситным» на кухне в обществе сострадальных старушек и тем самым удовлетворять основную физиологическую потребность, или…

Я предпочел «или».

В магазине «Канцелярские товары. Бланки бухгалтерского учета» приобретается книжечка квитанций: «Получено от… руб. За… Итого:… (сумма прописью)… Подпись:…»; копировальная бумага (пришлось взять пачку, хотя нужен один лист) и нумератор (восьмизначный).

В ту же ночь в тиши святой квартиры были пронумерованы попарно все квитанции. Чернилами проставлен текст: «Союзпечать. Подписка».

Утром я приступил к операции, не имеющей специального кодового названия, ибо она была совсем не оригинальна.

Это был плагиат чистейшей воды. (Из сотен рассказов, что мне пришлось прослушать за два года, валяясь на нарах, у меня волей-неволей остался в памяти ряд сравнительно безопасных способов, к которым прибегают люди, когда они не хотят трудиться или когда право на труд использовать невозможно.)

В ближайшем почтовом отделении толково объясняю девушке, что в цехе завода, где я — ответственный за распространение подписки, много желающих, и что мне надо от нее лишь плакатик, призывающий население к этой самой подписке.

Девушка очень любезно вручила мне целых пять таких плакатов.

В районе Охты появился молодой человек с новеньким дерматиновым портфелем, из которого торчали свернутые трубочкой плакаты.

На продолжительный звонок в одну из квартир ему открыла молодая женщина с диатезным ребенком на руках.

— Добрый день. Из Союзпечати… По распространению, — произнес молодой человек и решительно шагнул в прихожую.

— Есть полугодовая на «Крокодил»… Журнал «Костер». Осталось тридцать экземпляров на район.

От «Костра» женщина отказалась. Зато «Крокодил» она предпочла читать круглый год.

— Распишитесь здесь… И здесь… Эта квитанция вам. В случае недоставки — в ваше почтовое отделение. Ай-ай-ай! У меня, пожалуй, сдачи не найдется… Давайте мелочь. Отлично. Благодарю вас. Будьте здоровы!

Не менее часа веселый молодой человек обзванивал квартиры этого дома, отрывая хозяек от стирки и приготовления пищи.

Потревоженные не сердились; они внимательно выслушивали удобное предложение «представителя» Союзпечати, с интересом изучали красочные плакаты и… платили.

Часам к пяти операция подошла к концу: кончились квитанции. Последняя была выписана пенсионеру на журнал «Смена». Отсчитывая деньги, подписчик спросил:

— Что, вы работы не нашли поинтересней? Гоняетесь по лестницам…

— Общественная нагрузка.

— А-а-а, — одобрил подписчик.

— Будьте здоровы!

Падение всегда стремительнее подъема — таков закон. И я летел вниз. Летел не оглядываясь. Я смотрел только туда, куда летел.

На дно.

ЛИСТ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

За все это время я видел Зою не более четырех раз. На мое «здравствуйте» чуть заметный поклон и все. Чаепития, почти ежевечерние, проходили при глубоком молчании старушек, лица которых я никак не мог запомнить.

Ко мне ни разу никто не обратился с вопросом, никто не нарушил при мне одиночество моей комнаты. Однако регулярно менялось белье, и кто-то по ночам стирал и гладил мои рубашки. Моя попытка выяснить, кому принадлежат добрые деяния, натолкнулась на непонимающие глаза старушек.

Привезенная из Петергофа елка не вызвала у обитателей квартиры никаких эмоций. Она стояла в коридоре много дней. Исчезновение ее я заметил лишь утром тридцать первого.

Этим же утром в конце чаепития одна из старушек, к моему искреннему удивлению, оказалась говорящей.

— Зоенька просит быть к двенадцати…

— Спасибо, — ответил я. — Передайте Зоеньке, что я обязательно буду.

Поздно вечером обитель вздрогнула от здравицы, настоянной на коньяке.

— С Новым годом, мамаши!!

На стол посыпались конфеты и пряники.

Старушки испуганно жались по углам. Когда же из-за пазухи появилась семьсотпятидесятиграммовая бутыль кагора, они, неистово крестясь, выпорхнули из кухни.

Я сел тут же и запел Вертинского:

Господи, боже мой, господи!
Что тебе стоит к весне
Бедной несчастной безноженьке
Ножки приклеить во сне…

— Ноги для того, чтобы бегать, — добавил я Женькину фразу и перешел к мелодекламации:

Гарун бежал быстрее лани,
Быстрей, чем заяц от орла…

Все это грозило перерасти в заурядный концерт

самодеятельности, если бы не Зоя. Она не вошла, не появилась. Она возникла в дверях такая же, как и всегда, в своем ситцевом платьице с протертыми плечами. Из-за спины торчали испуганные старушечьи лица.

— Не шуми, — сказала Зоя.

Долго фыркаю под краном, изгоняя «змия». Намочив полотенце, уже в комнате протираюсь до пояса.

Очень хочется курить. Но я не курил в этом доме и сейчас не позволил себе сделать исключение.

Первое, что удивило меня и озадачило крайне — в комнате не было икон. Ни одной.

В углу висела большая фотография: профиль красивой женщины; она улыбается, лукаво закусив губу. Из-под золотистого локона сверкает камень сережки.

— Мама, — сказала хозяйка.

— Я догадался: вы очень похожи.

Зоя сидела на диване, сложив на коленях руки. Старушки — их было пять — окружили стол кольцом черных платков и глубоких морщин. Сейчас среди них она казалась совсем юной.

На елке горят свечи. Горят два тусклых шарика. Белеют накиданные на ветки клочки ваты.

На столе небольшой пирог, винегрет в селедочнице и клокочущий самовар. Бутылки не было. Не было ни пряников, ни конфет. Не было также ни ножей, ни вилок. Это я заметил, когда после длительного молчания одна из старушек пододвинула пирог к Зое, и та начала ломать его на куски. Каждая, принимая ломоть, целует ей руку и кладет пирог себе на тарелку.

Я сделал то же, что и все.

Ровно в двенадцать — за стрелками ходиков неусыпно следили старушки — все встали, кроме нее.

— Тебя нет и нас нет. Есть только звери. Когда звери съедят зверей — будет радость.

— Будет Радость! — прошептали старушки.

Сели. Разлили чай. Стали есть.

Трапеза не затянулась. Откушав пирог, тщательно подобрали крошки. Отведали винегрет. Выпили еще чаю и молча стали расходиться.

Ходики показывали час ночи.

Мы остались вдвоем.

— Ты тоже зверь.

Передо мной старуха. И у старухи — голубые глаза… Но это — не небо… Глаза — впадины… Глаза-колодцы, бездонные, жуткие…

Колодцы слез.

Я съежился. Захотелось прыгнуть букашкой, проползти червем. Только не напомнить о том, что я — человек.

— Что же делать? — вырвалось из самой души.

— Зверям быть в клетках. В клетках.

— За что так, Зоенька? Есть и люди…

— Нет людей. Звери. Я знаю. Знаю. Уйди.

Колыхнулось пламя свечей. Стараясь не громыхнуть стульями, вышел из комнаты.

Из кухни доносится шепот — там свои дела… Не раздеваясь, лег на кровать.

Как плохо мне, Господи… Как тошно… Ведь ничего нет… Никого нет… За что зацепиться? Один… Как в одиночке… За стеной девочка-старуха со своим безумием. Я — здесь, близкий к тому же… Бежать некуда… Некуда!..

И тут же вскочил. Дверь от себя. На кухне моют тарелки старухи. Взял со стола бутылку, вернулся в комнату.

— И все-таки буду рыпаться, Шурик! Буду! — произнес я вслух.

В руке стакан с кровью.

Пью сладкое густое… (За людей! За людей! За людей!)

Без стука вползла старушка, прикрыла за собой дверь, уселась напротив.

— Не спорь, родимый, с ней, не спорь. Живи тихо. У нее горе… Все наши — во… — (сделала пальцами щепотку)… — горюшки-песчинки. Мать ее, говорят, съели… В блокаду-то… — (Волосы дернулись, вот-вот выпадут разом)… — В точности никто не видел, не знают…

— Ерунда! — выдохнул я, приходя в себя. — Чушь это. Не было такого…

— Не было. Не было, — закивала старуха. — Но ей сказали так. Люди — звери, это она верно говорит. Мать-то ее разведенная до войны еще… Война началась — она в паспортистки и пойди. Карточками ведала, их в первые месяцы по жительству вручали… И пропала она, как сейчас помню, в октябре. Сумку с документами нашли после, а ее нет… Вот слух по дому и пошел… Мол, съели. Из милиции приходили, объясняли, что умерла она и все тут… Девочка — ей тогда пятнадцатый шел — поплакала, поплакала и успокоилась. Тут война кончилась, квартиры начали занимать. У нее, вишь, отдельная… Как так… Одинокая и в такой квартире… Вот одна тут — чистый упырь — и заявись. Она уж больно на эту квартиру зарилась… Возьми и скажи про мать… Что, мол, значит, съели ее. Что все в доме знают. Вот тогда и случилось все… И в психиатричке она лежала, и люди ей так и сяк доказывали… Ни в

какую… Вот и мается…

— А ту?.. Сволочь-то эту, посадили?

— За что ж? Свидетелей нету… «Не говорила я» — и все тут. Жильцы письмо написали: «Из дома выселить!». Выселили. Уважили все-таки…

Бродить по городу одному, да еще в новогоднюю ночь, да еще и бесцельно — это как наказание, бесчеловечное и жестокое.

Но и там находиться не мог. Подступало желание рушить стены, поджечь дом к чертовой матери и увезти несчастную куда-нибудь к тихой речке, к солнцу…

Но бессилие рождало только бешенство.

Вот и бреду, гонимый ветром, через Васильевский, мимо хмельных дворников, мимо целующихся парочек, мимо дверей и окон…

— Мальчишечка! — окликнули откуда-то сверху. — Целоваться умеешь?! У нас тут одного не хватает! Ха-ха-ха!..

Из окна кинули фантики из-под конфет.

На набережной, между сфинксами, веселая компания. Под губную гармошку отстукивают ботиками две девушки.

— Тюх-тюх, тюх-тюх!

— Разгорелся наш утюг! — выкрикивает парень в матросской шинели.

Одна в ответ визжит на всю Неву:

Полюбила старшину
В милицейском кителе,
Оттого ночую я
Только в вытрезвителе!!!

Рядом смеется постовой — молодой старшина.

— Айда в общагу — погреешься! — голосит компания.

— Не могу — вахта…

— Товарищ, не в силах я вахту стоять! — затягивает мужской квартет и, подхватив под руки своих подруг, уходит прочь…

— Спичек нет, гражданин? Унесли коробок… весельчаки, — спохватывается старшина.

— Пожалуйста.

Закурили.

— Что не празднуете?

— Перепил… Протрястись вышел…

— От «ерша» мутит здорово, — соболезнует старшина.

— Вот именно.

— Я тоже у сестренки на свадьбе выпил шампанского, а

потом водки принял…

— Это ужасно.

Стоят у подножья древних сфинксов двое: молодой старшина милиции и сбежавший из лагеря заключенный.

Говорят о том, что «неплохо перед предстоящей пьянкой кусок сливочного проглотить — тогда и сам черт не страшен». — «А вообще лучше коньяка — нет». — «А еще лучше — закусывать плотнее».

Бесцельность иногда выводит к цели. Часам к четырем ночи я вышел к Мариинскому театру.

Пробежал глазами по ярко освещенным афишам, и какое-то сочетание букв натолкнуло меня на имя. Римма…

Она живет здесь, совсем рядом, на Фонтанке. Я вспомнил и дом, и садик во дворе, и два окна, выходящие во двор.

Прежде чем позвонить, долго стою, прислушиваюсь.

Квартира ходила ходуном.

Веселый говор и перезвон посуды перекрывал, пользуясь мощью проигрывателя, Леонид Кострица. Ему подпевали несколько голосов.

Вырвался звонкий голос:

— Девочки! Девочки! У нас еще шампанское! Смотрите!

— Ура-а-а!..

Я нажал кнопку.

— Римма! Звонят!

— Да, слышу я, слышу! Это, наверное, Борис…

Я отошел к перилам.

— Борька, заходи! — На всю лестницу.

Белое платье. На плечах пятнышки конфетти.

— Ты?!

Лицо позеленело.

— Тебя ищут… — (Вышла на площадку, прикрыла дверь.) — Были здесь… Оставили телефон… Если появишься…

— Спасибо. Извини…

Вслед спросила:

— Ты что-нибудь хотел?

— Нет, ничего… А впрочем, да!

Поднялся в два прыжка. Схватил за плечи и поцеловал с жадной силой в зеленые от страха губы.

— С Новым годом, Риммка!

На столе, под бронзовой рамочкой, меня ждал конверт: ночью здесь была тетя.

«Заходили двое. Справлялися о тебе и в чулан заглядывали.

Хорошо, валенки твои в сундук схоронила. Ко мне нельзя. Соседи кабы не сделали чего. Клавдия. Тетка твоя!».

ЛИСТ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ

В столовке, что на Чкаловском, торговали в ту пору пивом. Если бы разрешали курить, то и совсем пивная.

Я с тарелкой устроился на свободное место. Отпил пиво и принялся за щи.

— На ташкентской пересылке — вот где я тебя видел…

Поднял голову. За столом — трое: один пожилой с бритой наголо головой, двое других молодые.

— В пятом бараке… Отличные романы тискал. Освободили?

— Освободили.

Лицо парня незнакомое. Судя по одежде, из тех мест недавно.

— Прокололся?

— Нет еще…

В разговор вступает второй:

— Я ксивы сдаю на прописку, а мне начальничек говорит: «Покупай билет, Толик, на курьерский…» И расписание поездов показал.

Рассмеялись оба. Бритоголовый тянул пиво, не улыбнулся даже.

— За что тянул срокешник? — интересуется Толик.

— Да, так… За дело… — ответил я многозначительно.

Переглянулись. Помолчали.

— Кого из воров знаешь? — спросил пожилой.

— Кешку Голубка… С Санькой Шпалой в одной бригаде были…

— С Москвы Шпала?

— Тот самый.

— Я с ним еще в Карелии тянул, — хвастается Толик. — Карту знает.

— Заткнись, — обрывает его пожилой и ко мне. — Потолкуем, хлопец…

— Почему и не потолковать.

Принесли еще пива. Из «кармана» дяди Феди — так его звали — полилась в мою кружку водка. Налил и себе. Остальные смиренно хлебали пиво.

— По хатам ползал?

— Было…

— Тебя как кличут?

— Витек.

— На дело пойдешь?.. Физиономия у тебя в порядке… Если столкуемся, третья часть твоя.

— Годится.

Почувствовал себя нужным. Было дело. А какое это «дело»… Да какое это имеет значение? Меня уже ищут, значит, не завтра, так послезавтра, мы встретимся: и тот, кто ищет, и тот, кого ищут. Это будет, и этого не избежать. Поэтому к чертям все философии мира! Есть день, и он — мой!

Выпивая теплую хмельную бурду, доедаю щи.

— Пойдем, Витек…

Мы освободили столик.

На трамвае доехали до Сенного рынка, где долго искали какую-то Галочку.

— Приболела, видать, — предположил «чухонец».

Сходство с чухонцем действительно было у этого малого: глаза с синевой, белые брови кустом и целая шапка таких же белых кудрей.

По дороге к Галочке покупается коробка конфет «Жар-птица», круг колбасы «Польской» и две бутылки водки.

Притон «Мечта» — так назвал дядя Федя жилплощадь Галочки, когда мы поднимались по лестнице, пахнущей прачечной.

Название не содержало иронии: прямо с лестницы вы попадаете в опрятную комнату, площадью около тридцати метров. Прямо в комнате плита-голландка и рукомойник. Над головой балкон-антресоли. Шик!

Опухшее со сна лицо Галочки не вызвало у меня ассоциаций ни с Карлой Доннер, ни с Диной Дурбин. Впрочем, глаза…

— Где вы откопали его? Это же — блеск! Я буду с ним спать и, может быть, даже рожу от него ребенка!

— Кончай буровить, — злится Федя.

— А он не в Эм-гэ-бэ работает? У него в глазах решеточки…

— Кончай, Галка, — урезонивает Толик, самый молодой из всех, с золотой «фиксой», которую он постоянно натирает пальцем.

— О! «Жар-птичка»! Ты — мужчина, Федя! Ты — настоящий самец! Я сейчас переоденусь и выйду к столу…

Скинула халат… Забралась по лестнице на антресоли.

— Я одену вишневое! Вот это!

Она показывает яркое платье с белым кружевом ворота и манжет.

— Свари картошечки, — скулит Толик.

— Ты пошляк, Толик! Мои пальчики лобзал Даниил Васильевич! Лично! Ведущий режиссер с «Ленфильма». Серость! Вы не ходите даже в кино…

Она спускалась «к столу».

— Давайте знакомиться…

Грациозно протянула руку.

— Вас я буду называть на вы. Не возражаете? Мне надоели все эти «Толики», «Бобики», «Нолики»… Хочу водки.

Дядя Федя разливал водку в граненые стаканы. «Чухонец» превращал круг колбасы в гору кривых ломтей.

— За тех, кто у начальничка! — сказал тост Федя и первым опорожнил стакан.

Толик долго булькал со своей порцией, да так и не допил, поперхнувшись. Занялся колбасой.

«Чухонец» чокнулся с хозяйкой. Выпили враз.

— А вы что ж?

В ответ подкладываю первую мину.

— Красиво пьешь, чертовка.

— Ого! — присвистнул «чухонец».

— Я ее только за это и уважаю, — сказал Федя.

Не закусывая, закурил. Налил себе и ей еще.

— Давайте на брудершафт, Виктор!

Тряхнула черным волосом. Обошла стол. Руки в бедра. Качает ими.

— Возьмите меня… Я же хочу сидеть…

Подставил колени. Села. «Чухонец» подал стакан. Дзынь… стекло о стекло… рука за руку петлей… Обожгло водкой и взглядом… Закрыла глаза… И отдала рот, словно рабыня.

Кто-то аплодировал. Кажется, «чухонец». Толик вилкой отбивал на бутылке секунды.

— Мамонька! — оторвалась от меня ошалевшая. — Детей от него хочу! В уборщицы пойду! В судомойки!.. — (Она пьянела на глазах)… — Кормить буду сытно! Не надо воровать! Постелька чистая. Тепло… Кормить с ложки буду!

Она рухнула на пол, целуя мои колени.

— Ребенка хочу! Маль-чиш-ку-у!!!

— Кончай, — процедил сквозь зубы Федор.

— Отстаньте от него!.. — (В глазах злоба.) — Уйдите! — (Вцепилась в колени до боли.) — Уйдите!!!

Мелькнула рука. Хлесть!.. Галка дернулась и сползла на пол. Я поднялся.

— Брось! Зачем тебе это? Она же баба…

— Суки они все, — ответил Федя и налил себе еще.

Я отнес женщину на кровать. Носом шла кровь. Мочу полотенце под краном, снова подхожу. Но она уже крепко спит, свернувшись калачиком.

— Ладно, хватит порожняк гонять, — сказал дядя Федя. — Дело вот какое…

Вечером мне открыла Зоя.

— Здравствуй, Зайка! — сказал я весело. — А где бабуси?

— В церкви.

— А ты?

Она промолчала.

— Пойдем погуляем. На улице снежок, красиво…

— Зимы не люблю.

(Я понял почему и сменил тему.)

— Можно, я подарю тебе платье?

— Зачем?

— Чтобы носить. Ты будешь красивая.

— Ты — зверь.

— Нет! Посмотри в глаза… Видишь?

— Страдаешь… Но ты — зверь, — повторила она твердо.

Пошла к себе. Кричу вслед:

— Я куплю тебе платье, Зайка!

Повернулась и сказала жалобно, просительно:

— Не зови меня так… Не зови.

— Это же так тебе идет…

— Не надо… Не надо…

Испуганно попятилась и скрылась в своей комнате.

На многолюдной улице, рядом с кинотеатром, трое мужчин в синих халатах выносят из парадной вещи и аккуратно укладывают их на двухколесную тележку.

— Никаких перекуров, комсомольцы! — весело покрикивает старший. — Так и соревнование проиграть можно! Осторожно листочки, осторожно…

Из парадной вышел юноша с выгоревшими бровями. В руках фикус. За ним еще один с двумя чемоданами.

— Много еще там? — громко вопрошает старший, помогая взвалить цветок.

— Есть еще…

— Не разевай рот! Пошел! Пошел! У нас еще две заявки!

Тщательно увязаны вещи. Дрожит листьями фикус. Тележка трогается.

Маршрут следования тележки сложен и необъясним.

Через полчаса ее видели на Суворовском, потом, облегченная на два чемодана, она проследовала по Полтавской, где сделала минутную остановку и свернула к Невской лавре.

К кладбищу тележка подкатила совсем пустая, если не считать фикуса в кадке.

В районе заброшенных пакгаузов тележка остановилась и, скрипнув ржавыми рессорами, замерла в одиночестве.

Рядом, коченея на морозе, стоял фикус.

— Я тебе в следующий раз глаз выну! — бушует Федя. — Не дыбай по сторонам, когда работаешь!

«Чухонец» молчит виновато, косится на деньги.

Федор разглаживает каждую, кладет то сюда, то туда — в три стопки.

Я сижу на подоконнике, листаю журнал мод. Галка жарит яичницу.

— Хочу в Ялту, — неожиданно объявляет хозяйка. — Там Чехов жил.

— Толику денег не давать, — предупреждает Федор. — Не дорос цыпленок…

— Хочу в Ялту… Не слышишь, что ли?

— А в… не хочешь?

Федор назвал место, ничего общего не имеющее с географическим пунктом.

— У меня неврастения. Мне надо отдохнуть.

— Триппер у тебя, а не неврастения.

Заржал «чухонец».

— Да хватит вам, ей-богу… — вставляю я. — Озверели, что ли?

— Успел подхватить, Витек? — поясничает «чухонец».

— Легче! Легче! — рычит Федор, перехватывая мою руку.

Я вырываюсь и бью «чухонца» в переносицу.

— Ха-ха-ха! — заливается Галка. — Цирк на дому! Прыжки со стулом!

— Нет ли охоты зарезать? — дразню я «чухонца».

Он сидит на полу. В глазах, вместо обычной синевы, свинец.

Федор грохочет по столу.

— Кончайте, подонки!

— Ты очень шумишь, Федя, — говорю я тихо.

Взял с плиты нож с деревянной ручкой, бросаю «чухонцу» под ноги.

— Ну… — кличу я смерть. — Ну…

Оглушительно визжит Галка. Бросилась к ножу, подняла с пола.

— Вы что? Вы что?! — задыхается она словами. — Вы что, не люди?! Не люди?!

— Все, — сказал я тихо. — Извини Галочка… Это я виноват.

— Не благородствуй, — перебил «чухонец», поднимаясь с пола. — Я начал…

Дядя Федя ухмыльнулся.

— Подонки.

И добавил уже совсем весело:

— Кормить-то будешь, Галка?

Та просюсюкала нарочито капризно:

— Я в Ялту хочу…

Рассмеялись все. И она тоже.

На другой день.

— Зайка, я должен как честный человек предупредить заранее: скоро мой день рождения — пятое февраля…

Разворачиваю пакет.

— Оно очень теплое… Это шерсть. И голубое. К твоим глазам. Так вот… Я буду ждать и от тебя подарок… Р-р-р-р! Я — зверь.

Она сидит на диване мумией. Смотрит. Молчит.

Повесил платье на стул перед нею и вышел.

Наступил день обыкновенный, обычный. И никто не знает, что самой счастливой из всех женщин в этот день была Галка.

Я пригласил ее в театр. В «Комиссаржевку».

Притон «Мечта» мгновенно превратился в сумасшедший дом. Грелись на плите утюги и щипцы для завивки. В поисках чулка были вывернуты наизнанку ящики и чемоданы. Пахло паленым волосом и дрожали антресоли, с которых каждые пять минут скатывалась хозяйка и, вертясь перед трильяжем, восклицала:

— Дешевка! Вокзальная потаскуха!

Взбегала наверх и снова скатывалась, теперь уже в трикотажном костюме.

— Боже, какая я старая. Тебя примут за моего сына…

Остановилась она на белой блузке с черной юбкой.

— Проститутка! Вы посмотрите на эту шлюху! — Она тычет пальцем в свое отражение. — В театр тебе?! В театр?! На тебе! На! На!

В зеркало полетела пудреница, выпустив при этом розовое облако. За ней гребни и щетки.

Я подоспел, когда в руке был флакон с каким-то эликсиром.

— Хватит! Достаточно! Нет ничего хуже заплаканного лица. Будешь реветь — сиди дома! Чем тебе не нравится кофта? Скромно и строго.

— Да?

— Да, черт возьми, да! — терял я терпение.

— И Даниил Васильевич это же говорил.

— Какой Даниил Васильевич?!

— Режиссер… С «Ленфильма»…

Бывают мгновения, когда женщину хочется ударить. Так хочется! Но вместо этого…

— Ты с ним спала, конечно…

— Что ты! Что ты! Они там все импотенты… — (Вот видите! Ударил бы женщину ни за что!)

— А что у тебя будет в руках?

— Ой, совсем забыла!

Сумки оказались все дрянь. Была утверждена муфта из белого зайца, который, видимо, решил в середине зимы сменить шкуру.

— Я буду вся в пуху!

— Ты не будешь, надеюсь, ею махать. Это же не веер.

— Ой, как хорошо… Напомнил. У меня есть веер!

— Никаких вееров! — категорически запротестовал я.

Были забракованы также часы и немыслимый браслет: серебристый уж с глазами из бутылочного стекла.

— А это колечко?

— Можно, — сдался я.

Галка протерла запудренное зеркало и в испуге отшатнулась.

— Боже, какая я нищая…

Все грозило начаться снова. Я пошел на провокацию.

— Эта фраза типичная для проституток. Что ты постоянно клянчишь у мира?! Ты здорова, ты красива! Что тебе еще надо?!

— Шубку.

— Дура.

— Я тебе нравлюсь?

(Вот это серьезный разговор! А то — «шубка»! Смешно.)

— Безумно!

— А что мы идем смотреть?

— «Дон Сезар де Базан».

Сняла юбку, стала отпаривать ее.

— Я хочу в Испанию… Из-за меня дрались бы на шпагах. Пели бы под окном серенады… Ой!!

— Что еще?!

Щипцами поддела крышку кастрюли. Супа не было, на дне лежало черное что-то и подозрительное, оно пузырилось и угрожающе шипело.

— Суп «по-испански», — определил я, кашляя от дыма.

В фойе театра надел очки, предусмотрительно купленные накануне в магазине уцененных товаров.

— Плохо вижу издали.

— А вблизи?

Галка приблизилась вплотную, целует мне нос.

— Вблизи хорошо.

Себе купил программку, даме — мороженое. Ходим чинно по коврам, болтаем всякую бестолочь. Галка и впрямь красива. В

особенности — ноги. И глаза южанки. Темно-вишневые. «Кагоровые» глаза.

— А ты где родилась?

— В Чернигове. Слыхал?

— Так ты хохлушка?

— Батько. А мамка — ленинградка… Хочу вина.

Но мы не успели: звонок приглашал в зал.

Наши места в третьем ряду. Сели. Галка уткнулась в программку. А во мне вдруг заворочалось беспокойство. Что-то произошло. Вот только сейчас… Не могу понять — что… Вспоминаю по порядку… Вошли в зал… Галина впереди… Зашла между рядами… Протискиваюсь следом, задевая колени сидящих…

Не может быть!.. Рука… На спинке кресла… Тонкие пальцы… «Ими совершают дворцовые перевороты»… и ямочки… Нет! Показалось. Ошибся. Мало ли рук с ямочками… Взглянуть. Это в четвертом, за нами… Место, примерно, шестое от нас… Шея стала деревянная. Пальцы липкие. Что-то спрашивает Галка…

— Что ты говоришь?

— Я забыла зайти в туалет, — шепчет она.

— Зачем? — механически спрашиваю я.

Галка прыскает в программку. Гаснет свет. Вступила музыка. Прошло минуты две. По сцене на фоне холщовых стен города в ярких камзолах двигались люди, говорили громко и длинно.

Вот зал засмеялся… Еще…

Я медленно поворачиваю голову. Поправляю очки и делаю между пальцами щель… Нет. Ее нет. Мешает мужчина, он перекрыл собою несколько лиц…

Тонкие усики… Чуть навыкате глаза. Жирный черный волос. Громко смеется. Откидывается на спинку кресла… Она!!! Рядом с ним… Сдерживает смех… Поправляет через платье лямку лифчика… (Одна из привычек. Никак не мог отучить от этого…) Лицо пополнело. Округлилось. В основном, такая же, как и была.

Я повернулся к сцене, где танцевала средневековую тарантеллу большеглазая куртизанка.

Первый антракт я провел в зале, заучивая наизусть программку. Галка притащила два апельсина и винный дух.

— Я бокальчик…

— Ну, и молодец.

— А ты?

— Я бросил.

— Удивительно.

— Мир состоит из удивительных вещей, Галочка.

Фраза оказалась пророческой.

Во втором действии, среди многочисленной свиты испанского короля, мелькнуло лицо. Это уж слишком!.. Мысленно снимаю дурацкие усы… Я не ошибся! Ленька!.. Выученная программка подсказывает текст: «В спектакле заняты студенты пятого курса театрального института»…

Мне стало весело.

Если есть всему этому режиссер, то он гениален, как бог! Впрочем, почему бы богу не заняться режиссурой? Творить чудеса надоедает. Надо иметь какое-нибудь хобби.

Но Ленька!..

Я смотрел только за ним, и мне стало жаль его. Он хватался за шпагу, когда этого совсем не требовалось, он, не думая вовсе о короле, отталкивал заслонявших его других придворных и тянул тонкую шейку, и глазами искал кого-то в зале… (Наверное, Людмилу. Видимо, он и пригласил их.)

До самого конца спектакля передо мной подпрыгивал на цыпочках жалкий, бессловесный лакей… «Кланьтесь! Кланьтесь, канальи!» — вспомнил я рассказ Рокоссовского. «И по шее им! По шее!» — добавил я мысленно.

Во мне зрело озорство. Хотелось выкинуть что-то совсем несусветное…

И я выкинул.

Вестибюльная теснотища.

Вне очереди подаю номерок, предварительно завернув его в рубль. Помогаю одеться Галке. Вывел на улицу.

— Обожди меня на углу. Я сейчас…

Ныряю в подъезд. Нахожу швейцара.

— Карандашика не найдем?

— Почему не найдем?

Старик протягивает авторучку. Пишу на программке несколько слов.

— Сами понимаете: в любви все средства хороши. Это надо передать даме… При выходе… — (Кладу в программку трешник.)

— Понимаем, — улыбнулся швейцар.

— Вон… С лестницы спускается. С лисичкой на шее…

— С чернявым?

— С чернявым.

— Будет исполнено.

Галка ждала меня в такси.

Эта девчонка остановит и автобус, если только очень захочет этого.

— Ха-ха-ха! — заливается во мне мальчишка.

— Ха-ха-ха! — как и тогда, давным-давно, опуская парусиновый тапочек в кислые щи бедной тети Нюры…

— Ха-ха-ха!

«Грузите лавровый лист бочками. Штаны не стирайте — их нужно показать маме. Филипп Второй испанский».

ЛИСТ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ

Пятое февраля.

Проснулся рано. Зажег свет.

На стуле глаженая рубашка, на столе варежки. Вязаные. Синие. У большого пальца голубой зайчик.

В квартире пахнет пирогами.

Весь вечер тихий и трезвый сижу у Зои. Кроме нас — Алевтина Кузьминична. (Это от нее я узнал все о Зое.)

Был ли праздничным вечер?

Да.

Было радостно: принят подарок. (Платье к лицу.)

Было радостно: она улыбнулась! В первый раз!

(Алевтина Кузьминична рассказала о церковном стороже, который выпил вино для причастия и съел все просвирки, но пьянчужка сознался, и потому был прощен батюшкой.)

Ем яблочный пирог и пью ароматный чай.

Галка, мобилизовав все свои чары, настойчиво склоняет меня к женитьбе. С каждой встречей выкручиваться становится все сложней.

Пришлось положить конец этому.

Мое заявление об отказе встречается такой душераздирающей истерикой, что Федор, присутствующий при этом, не выдерживает.

«Отволоки ты ее в загс, чего мучаешь бабу?!»

(Вот бы сказать им сейчас о побеге! Представил их лица…)

Рассмеялся.

Федор матюгается, хлопает дверью.

И тотчас стихли вопли. Голосом, полным нежности и любви, Галка объявляет мне, что она беременна.

Любая женщина, увидев в эту минуту мое лицо, выбросила бы меня вон, но у этой все наоборот: Галка шепчет о пяточках, о носике, о ямочках на ручках, о ямочках на попке.

— Заткнись! Какие ямочки?! Что ты несешь?! Мы сами в яме!! Кто его отец?! Бездомный ворюга?! А мать?! Хозяйка воровской хаты?! Почти проститутка! По мне скучают решетки!.. Я слышу по ночам овчарок, а ты… ты…

Она не слышит меня; тихо, уже совсем как сошедшая с ума, бормочет на одной ноте:

— …и ушки будут шевелиться так же, когда рассердится…

Ее безумие было сильнее моего здравого смысла.

— Делай что хочешь, — промямлил я и взялся за шапку.
— Ты не придешь больше?
— Нет.
— Поцелуй меня.
— Ну, что за ерунда.
— Поцелуй!!! — заорала она страшно.
Я повиновался.

Зоя и Алевтина Кузьминична не спали всю ночь: безбожно пьяный квартирант нецензурно ругал себя, порвал в клочья рубашку, потом, упав на колени, целовал ноги хозяйки, около которых и уснул.

Апрель на острове начинается с грязи.

Сугробы черными грядами выстроились вдоль тропинок, которые уже и не тропинки вовсе, а ручьи; они подбирают по дороге мусор и несут его в главный мусороприемник — залив.

Вербное воскресенье.

Наломав веток, потянулись к Смоленскому родственники.

Я тоже хочу наломать веток, я тоже хочу на кладбище, к маме. Может, рискнуть? Может, и нет там никакого наблюдения? Не поехал. Не рискнул.

Первое мая.

Тянет за собою, всасывает в себя, подчиняет себе бурный поток. Не устоять, не отвернуться, не уйти. Машет руками и флажками, зазывает оркестрами и песнями… Качается цветами и буквами. И тысяча ног, и тысяча глаз! И все туда… Назад никто.

И пошел сам, не позванный никем, не приглашенный. Иду за «папиросой»… «Папироса» на полуторке. Табачная фабрика. В колонне — девчата.

Пора в путь-дорогу!
Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем!

— Клавка, твоего нет?!
— У меня второй припасенный!
— Ха-ха-ха!!
— Девочки! Не короткое сшила? Посмотрите…
— В норме!
— Меня секретарь пугнул: «Что ты, говорит, Светлова, ноги наружу высунула? А еще комсорг»…
— А ты?
— Я ему: знаешь, секретарь…

(Шепчет. Не разобрать из-за гула.)

— Ха-ха-ха! — заливаются девчата.

— Технолог-то с женой…

— Которая? Которая?

— На демонстрацию так с женой…

Судить буду строго —
Мне сверху видно все,
Ты так и знай!!

Прошли через площадь. «Папироса» сворачивает в переулок.

— Девчонки! Кому до автобазы?!

Кому куда: кому — домой, кому — в магазин, кому — на свидание.

А мне…

Иду по набережной. Свободное такси.

— Подбрось до Охтинского!

Сюда не долетает гул Первомая. Здесь свои праздники. Малолюдно. В конце дорожки мелькнула старушечья тень. Канавка. У мостика две интеллигентные дамы.

Дорожка разделилась на две тропинки. Теперь направо… Фамильный склеп…

«МИРАБО

Эллада Ричардовна

1862–1901»

А вот и сосна… На могиле космы седой травы. Цветочный горшок. Наверное, тетя была… Еще прошлым летом… Вытер рукой крест. Иголки, иголки… Старые, а колются…. Совсем рядом стучит дятел. Холодно.

Выбрался на главную дорожку. Опять мимо мостика. Черпанул воды, отмыл сапоги от глины. Иду к выходу. Перегоняю интеллигентных.

У часовни — старушка. В руках бумажные пионы.

— Костров!..

Ратиновое пальто. Шляпа. Улыбается. В руке пистолет.

— Побегал и хватит…

На крыльце часовни — еще один и тоже улыбается.

— Три месяца тут припухаем… Надоело…

В кармане иголки. Надо же… Никогда не думал, что они такие колючие…

Обратно до Иркутска везли в купейном вагоне. Со мной оперативно-розыскная группа. Трое. Все трое довольные: в Ленинграде побывали впервые и сбежавшего поймали. Относились ко мне хорошо. Наручники, правда, не снимали. Только когда кормежка и когда в туалет…

В первый же вечер спросил:

— Интересно, кому в голову пришло ждать на кладбище?

— Это элементарно, — объясняет старший. — Из «Дела» твоего ясно. В дневнике про мать… В письме к Сталину опять про мать пишешь… Да и нет у тебя никого на свете. Один ты, Костров. Дневальный твой, в клубе который…

— Петро?

— Ну да. На допрос когда дернули… Он так и ляпнул: «Чего, мол, шухер подняли? Лександрыч к матухе подался. Цветочков положит на могилку и вернется…»

Все трое рассмеялись.

ЛИСТ ТРИДЦАТЫЙ

Одиннадцатое октября тысяча девятьсот пятидесятого года. Лагерный суд. Ввели остриженного наголо Рокоссовского.

— Привет, контра! Еще не повесился? — услышу сейчас… Нет. Ничего я не услышал от Женьки.

Вопросы. Ответы. Вопросы. Ответы.

Узнаю, что Женька был арестован в Москве через двадцать два дня после того, как мы расстались в Нижнеудинске.

— Начало срока исчислять со дня суда, — заканчивает Председательствующий.

Снова десять лет.

Из них отбыл… один день.

ЛИСТ ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

Штрафной лагерь. Длинный бетонированный барак, наполовину врытый в землю. На сплошных нарах в два яруса лежит, сидит и ходит триста «особо опасных» преступников. Днем и ночью два ярких прожектора пронизывают холодную сырую мглу этой «братской могилы», так называл ее Женька. Ни на работу, ни на прогулки не выводят. От многомесячного ничегонеделания люди озверели, и закон животной силы здесь окончательно взял верх над разумом и чувством.

Мы отдалились друг от друга: я ушел в себя, а Женька примкнул к воровскому миру: целыми ночами играл в карты, выигрывал хлеб и кашу, бил морды нежелающим платить, часами лежал, погрузившись в наркотический бред и больше не пел. Помню, однажды он подошел ко мне и положил две пайки хлеба, только что выигранные им.

— Не надо, Женя, спасибо…

— Брезгуешь, сука?..

Я отвел глаза в сторону.

— Ну, и сдыхай, — промолвил Женька и бросил хлеб на середину барака, где тут же завязалась драка. Это был последний наш разговор.

Вечером прибыл этапом новенький, знаменитый среди воровского мира Володя Бакенбард, высокий, черный мужчина лет сорока с лицом чеченца.

На левом виске пульсировал фиолетовой кожей большой шрам, отдаленно напоминающий бакенбард.

Женька как старший среди блатных пригласил Бакенбарда «откушать» с ним. Это воровская традиция: признаешь, уважаешь — садись. Бакенбард отказался, сказав громко и отчетливо:

— Сучьего куска не ем!

Женька стал белым. Он знал, что по воровским законам воевать на фронте и вообще служить в армии «не положено».

— Это кто сука? — свистящим шепотом спросил Женька и, спрыгнув с верхних нар, вплотную подошел к Бакенбарду.

— Ты, ты — сука… Орденоносец и погань, — спокойно и с какой-то нежной улыбкой ответил Бакенбард. Барак замер, предвкушая спектакль.

— Братцы! Воры! — заорал Женька. — Я делаю его начисто!

Но Бакенбард опередил его. Длинная сухая рука поддела Женьку снизу под подбородок. Женька икнул, захлебываясь кровью, но не упал; его только отбросило к вертикальному брусу нар. Бакенбард успел еще ударить ногой, но, видимо, неудачно.

Женька окончательно осатанел. Таким я его не видел. Оттолкнувшись ногой от бруса, он головой нанес страшный удар в грудь. И тут же, подпрыгнув, ударил сразу двумя руками по затылку. Бакенбард рухнул на пол. Дальше смотреть было невыносимо. Женька буквально плясал на нем. Серые бурки почернели от крови, но еще долго он продолжал избивать совершенно неподвижное тело.

Потом, пошатываясь и тяжело дыша, пошел к бочке с водой, сплевывая по дороге кровь. Обмывшись, Женька забрался на свое место и продолжал прерванную карточную игру.

Через час обо всем забыли — зрелище было банальным. Жизнь шла своим чередом.

Я долго не мог заснуть в эту ночь. Мешал свет прожекторов и дыхание огромной спящей массы.

Вдруг я услышал хруст. Именно хруст. Как будто какое-то огромное животное пережевывало хрящи другого.

Я сел, прислушиваясь. Вот опять: хрр… хрр… Я взглянул туда, где хрустело, и заорал, оглушая себя и других… В метрах пятнадцати от меня, на спине спящего Женьки (он всегда спал на животе), сидел Бакенбард и двумя руками вбивал в него «пику» (это — скоба, которой скрепляют балки. Выпрямленная, с обмотанным тряпкой одним концом, она и впрямь напоминает пику, длиною не менее полуметра).

Даже после того, как мой крик поднял на ноги весь барак, Бакенбард продолжал казнь. Во всем этом был ритм: на счете один, два — он вынимал ее… На счете «три» — всаживал до тех пор, пока она не упиралась во что-то твердое и хрустящее.

Я сидел и плакал долго и беззвучно. Утром пришли надзиратели и вынесли Женьку. Я проводил его глазами.

Лицо Женьки было спокойно, как у человека, спящего глубоким и здоровым сном.

ЛИСТ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ

Перешагиваю через четыре года. За эти четыре года… Нет. Не буду.

О чем рассказывать? Сколько спилил сосен и кедров? Сколько перетаскал кирпичей и бревен? Сколько видел зарезанных, повесившихся? Сколько прослушал исповедей и сколько лжи? Сколько видел обмороженных рук и ног? Сколько я сам провалялся в сангородках (цинга, дистрофия, язвы, геморрой, чирии)? Про это рассказывать?

Поверьте мне: больно об этом писать, а читать скучно.

Тысяча девятьсот пятьдесят третий год.

Март.

Кончина.

— Газету!!!

По дверям цензорской руками и ногами…

— Давай га-зе-ту!!!

Шепнул об этом кто-то из вольных. Облетело мгновенно. Поднялся весь лагерь. Закипел. Забурлил.

— Что же будет?.. Что же будет?..

— Да ничаво. Ряшотки потолше, а пайка потонше буде…

— Представляю, в Москве что творится…

— Сожгут?! Что вы, Федор Николаевич! Никогда! Заложат еще один Мавзолей, вот увидите…

— Теперь и вовсе не до нас…

— Второго такого нет. Эпоха не в состоянии лепить гениев, как сырники…

— Кстати, о сырниках… Анекдот вспомнил…

— Ха-ха-ха!!!

— И не стыдно вам? В такой день… Осталось же, наконец, что-нибудь человеческое у вас?

— Ты чего пасть разинул, контра?! Небось, сам про него анекдоты тискал!

— Да ну его, Серега! Он же чеканутый: тридцать писем накатал покойничку…

— Умора!.. Лучше б две колоды смастырил.

А я только девять. Последнее, девятое, было тогда с собой… В Москве. От Фомина вышел, поплелся в приемную ЦК и сунул в огромный дубовый ящик.

Что же будет теперь?

ЛИСТ ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ

— Распишитесь, пожалуйста, здесь…

Бланк. Герб.

«…нашла необоснованным… отменить… реабилитировать. Председатель специальной комиссии Верховного Совета СССР… 17 октября 1956 года».

— Вы следуете на постоянное жительство в Ленинград?

— Нет. Мне бы хотелось некоторое время поработать здесь, в Ангарске.

— Тогда с этой бумагой вы обратитесь в местный Совет. Препятствий с пропиской не будет.

Жмет руку второй раз.

— А отчаяние, Костров, изгоните. Вы еще так молоды. Не сломайтесь… Трагедия не только ваша… Партия просит принять извинения, а, по существу, больше всего пострадала она… Разберитесь не спеша. Будьте трезвы и мужественны. В добрый путь…

Из-за стола поднялась седая женщина. На серой кофте орден Ленина. Руки — кости да кожа с мозолями.

— Виктор, я, как мать… — (Она ищет слова.) — Я девять лет… Ты должен верить…

Взяла из пепельницы окурок. Затянулась.

— Такой же сын у меня, — гордо сказала она. — Он верит. И ты должен верить, Костров. Другого нет. Нет…

ЛИСТ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

— Не оглядывайся!..

Это кричат мне вслед остающиеся. Есть примета: выходишь на свободу — не оглядывайся, а то вернешься. Но я оглянулся. Какие там приметы, когда оставляю здесь так много.

— Прощайте, бараки и юрты! Вы сохранили от стужи тело мое! Прощай, кухня, где на моем счету, в буквальном смысле, пуд съеденной соли…

Хотя… что я?.. Сейчас умножим…

Прохожу через вахту. Овчарка посмотрела на меня без интереса и зевнула.

…Значит, триста шестьдесят пять умножим на восемь… четыре в уме… трижды восемь… итого: две тысячи девятьсот двадцать… округляем… две тысячи девятьсот дней. В день по десять граммов… так… Двадцать девять кило.

Почти два пуда!

В город мчатся машины. А, ну их! Пойду пешком. Мороз невелик.

Дорога повернула круто, обогнула пологий холм с высоковольтной опорой и уперлась в городок.

Слева дымится черная вода Ангары, мороз еще слабоват. Остановит ее он позже, в декабре, а может быть, в январе.

Городок начался с двухэтажных разноцветных домиков. Около каждого конвой — пятнадцатиметровые кедры и ни одного забора.

(Как я ненавижу заборы!)

У розового домика пилят дрова.

— На Социалистическую как пройти?

— Вон дымит, видите? Это баня. До нее дотопаете и влево до моста… Там спросите.

Стучу в дверь зеленого домика в конце Социалистической улицы.

— Сейчас, Виктор, сейчас, — весело крикнули из-за двери. — У нас тут две задвижки, французский замок и русский крюк!..

Распахнулась дверь, и нос к носу — хохочущая девчонка.

— Здрасте! Здрасте! Я — Женя. По мужу — Боброва. Андрейка на работе. Давайте валенки — у нас тепло…

Толкает меня на табурет, хватается за валенок.

— Ну, что вы, что вы, Женечка! Я сам…

— Сами вы ничего не будете!

Сдернула валенок. Не даю ей схватить за второй. Она бьет по

рукам и смеется на весь дом.

— Не буяньте! А то свяжем! Вот Андрейка придет и свяжем! У нас санаторный режим.

— Как, опять режим?!

— Ничего! Ничего! Андрейка и тот привык. Вот шлепанцы. Я почему-то представляла вас седым…

— Я вас почему-то черненькой…

— И с такими ногами?

Она делает колесом ноги, оттопыривает нижнюю губу и проходит впереди меня в комнату.

— У Андрея Васильевича самая красивая жена в Ангарске, — говорит она совсем серьезно самой себе в маленькое круглое зеркальце.

— А я — в курсе!

— Откуда?

— Он мне о вашей красоте все уши прожужжал: «Женя, Женя, Женя, Женя».

— Он мне про вас тоже. Только и слышу целыми днями: «Витя, Витя, Витя, Витя!»

Выскочила в кухню.

С Андреем Бобровым я жил в одном бараке целый год, и целый год он действительно говорил со мной только на одну тему. О ней.

Лишь пять дней они прожили вместе. Пять дней прошло после того, когда, оглушенные счастьем, они вышли из местного загса.

Они успели привезти новую мебель в новый дом, успели выкрасить его в темно-зеленый, успели вскопать клумбу под резеду, а на пятый день, вечером, успели станцевать танго во Дворце культуры.

Когда танго кончилось, к ним подошли трое.

Андрей не нашел слов, чтобы защитить ее. Он только озверело бил сильными руками их пьяные хари, пока один из них не исчез в сутолоке танцевального зала, а оставшихся двоих вместе с ним не увезла милиция.

За драку в общественном месте дали всем поровну — по два года.

Через год, учтя отличную работу и прочие добродетели, его освободили.

Покидая меня, он уносил тяжелую пачку Жениных писем и данное мною слово: после освобождения обязательно заглянуть к нему.

— Андрей не пьет, — оправдывается жена и ставит на стол графин с водкой.

— Это он сам?

Показываю на потолок.

— Сам. Краски я составляла…

Андрей работал маляром на стройке. Это я знал. Но чтобы сделать такие белые бутоны в углах… нужен или талант, или любовь.

Хозяйка тоже чем-то напоминает бутон. Полная, беленькая. Зубы крупные, белые. Белая вязаная кофта с пуговицами-шишечками. Глазки только темные, ореховые. В них добрая лукавинка и абсолютная уверенность в себе, в Андрее, во всем, что вокруг. Такое лицо трудло представить плачущим. С таким лицом бывают медсестры. Она и была медсестрой в городской больнице.

— Вечером пойдете с Андрейкой в баню.

Вносит тарелку с крупно нарезанным омулем. Омуль копченый.

Рот заполнился слюной.

— Женечка, я сегодня, — глотаю слюни, — утром мылся. Там есть душ.

— А у нас — пар и венички…

Не отвести глаз от омуля. Ну, никак…

— Венички — это прекрасно, — лепечу я бессмысленно и, воспользовавшись тем, что она опять в кухне, прикасаюсь к рыбе, нюхаю палец и даже лизнул его один раз.

Спасительный стук в дверь.

— Вить!

— Андрюшка!

И нет больше слов.

— Как телята! — хохочет Женечка и расталкивает нас локтями. Руки у нее заняты чугуном, а в чугуне картошка, одетая в самый что ни есть парадный мундир.

Душа и тело с трудом выдерживали обрушивающиеся на них наслаждения. Наконец тело не выдержало и рухнуло. Это произошло на самой верхотуре, в парной. Андрей на плечах вынес меня и усадил под «летний дождь».

Очнувшись, вижу подмигивающий глаз Андрея.

— Как сибирская банька?

— П-прекрасно, — и снова теряю сознание.

Окончательно открыл глаза в раздевалке. Андрей смеется и шлепает ладонями по моим щекам.

— От счастья не умирают, дурак!

Рассказывать о счастье, о жизни счастливого человека невозможно. Слова бессильны.

Это состояние души можно, и то лишь отчасти, выразить

песней, танцем, музыкой, криком, наконец!.. И глазами.

И молчанием.

Это мое мнение. Я его не навязываю вам. Я хочу только, чтобы вы, читатель, поняли, почему здесь, на этом месте, я обрываю заведенное на самого себя досье.

Ленинград, 1970

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОСЬЕ

(Справки)

1957 год — Ангарск. Работаю на кирпичном заводе в горячем цехе (большая зарплата).

Во Дворце культуры ставлю веселую детскую сказку (сам написал).

1958 год — Возвращаюсь в Ленинград. Тети Клавы уже не застал (даже не знаю, где ее могила).

Ставлю пьесы в народных театрах. Пишу для телевидения сатирические миниатюры.

1962 год — «Ленфильм». Режиссер Михаил Ершов, выслушав мою биографию, волочет к директору киностудии Киселеву. Через десять минут я зачислен в штат ассистентом режиссера.

1966 год — Москва. Высшие режиссерские курсы. Шеф — Леонид Захарович Трауберг.

1968 год — Работаю вторым режиссером у Глеба Панфилова (фильмы: «В огне брода нет» и «Начало»).

1970 год — Женитьба. Рождение Сашеньки. (Сейчас он в Военно-морском училище.)

Тамара. Давно замужем. Муж — офицер. Две дочери. Полковник Брагин умер.

Ленька (Леонид Павлович), который разбил на свадьбе хрустальный бокал моей тещи, — режиссер. Поставил несколько детских фильмов. Виделись ежедневно. Умер этой весной…

Людмилу не встречал. По слухам — живет в Ленинграде. Родители умерли давно.

Галку (притон «Мечта») нашел с трудом. Там все плохо, очень плохо. После моего тогда исчезновения сделала аборт.

Горбунов (единственный воздержавшийся при голосовании на бюро Школы) умер недавно. В последние годы — комментатор Центрального телевидения. Настоящая фамилия — Летунов. Юрий.

Шурика Фомина встретил случайно в Москве. Работает в уголовном розыске. Двое сыновей. Все в порядке. Только лысый совсем.

И ПОСЛЕДНЕЕ

О любви…

Это отдельная огромная тема. Это пока не дописанный мною роман…

notes

1

Тогда, в 1948 году, — станция Китой («КитойЛАГ»).